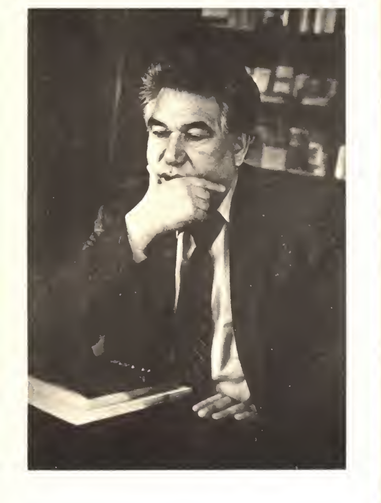
Чингиз Айтматов

Белое облако Чингисхана

ЧИНГИЗ
АЙТМАТОВ

БЕЛОЕ
ОБЛАКО
ЧИНГИСХАНА



Чингиз Айтматов

Белое облако Чингисхана

Повесть к роману

Бишкек
"Баласагын",

Москва
"Планета"

1991

ББК 84 Ки 7-4
А 37

Айтматов Ч.Т.

А 37 Белое облако Чингисхана. Повесть к роману (худож. У.Осмоев. - Б. Об-ние "Всесоюзный молодежный книжный центр". Фил., "Баласагын"; М., "Планета", 1991 г., с.176.
ISBN 5 - 7012 - 0080 - 9

В произведении "Белое облако Чингисхана" Чингиз Айтматов остается верен себе, обращаясь к преданиям и легендам старины. Автор сумел найти интереснейшую деталь - белое облако, связывая этот своеобразный символический знак с историей и судьбой Чингисхана, освещая одну из важнейших и поныне проблем бытия - взаимоотношения власти и личности. Этический, философский смысл легенды тесно переплетается с современной линией повести, с трагической судьбой Абуталипа Куттыбаева, одного из героев, известих читателю по роману Айтматова "И дольше века длится день."

А $\frac{4702012001 - 2}{002(01) - 91}$ Без объявл. ББК 84 Ки 7-4

ISBN 5-7012-0080-9

ОТ РЕДАКТОРА

Чингиз Айтматов. Многое написано им, много написано о нем.

Творческий опыт, эстетические открытия Чингиза Айтматова в наши дни стали достоянием всемирной культуры. Это естественнный и закономерный процесс, потому что читателям разных народов близки и понятны герои его произведений. Айтматовские герои, не отступающие от правды, сеющие в душах читателей зерна надежды, зовут в нелегкий путь - в будущее.

Примечательно, что произведения Айтматова вошли в программы школ и высших учебных заведений многих стран мира. По данным ЮНЕСКО Ч.Айтматов - в ряду писателей, наиболее читаемых в мире.

Кроме того, многие романы и повести обрели новую жизнь: они звучат со сцен театров Стамбула и Вашингтона, Софии и Улан-Батора, Варшавы и Бухареста, Праги и Лондона, Токио и многих других городов мира. Большинство его произведений экранизированы.

Чингиз Айтматов родился в аиле Шекер, что находится в Таласской долине. Торекул - отец Чингиза, репрессированный в 1937 году, был известным партийным деятелем республики.

Учился будущий писатель то в русской, то в киргизской школах, с малых лет органично впитывая в себя соки обеих культур.

В трудные сороковые годы учеба была прервана войной. Лишь в послевоенное время он получил возможность продолжить образование, успешно окончил сначала зооветеринарный те-

никум, а затем - сельскохозяйственный институт в городе Фрунзе. После завершения учебы работал зоотехником.

Дебютом Ч.Айтматова как прозаика стала публикация в 1952 году рассказа "Газетчик Дзюйо". А к середине 50-х годов он стал уже известен в родной республике как автор многих рассказов. В первых произведениях уже четко прослеживается стремление молодого писателя к глубокому психологическому анализу, к раскрытию диалектики души героев.

В 1959 году он возглавил журнал "Литературный Киргизстан", выходящий в республике на русском языке. Затем работал собственным корреспондентом центральной газеты "Правда". В своих статьях и очерках он стремился полно и правдиво отразить жизнь и чаяния народов Средней Азии и Казахстана.

С 1962 по 1986 годы Чингиз Айтматов возглавлял Союз кинематографистов республики. Творчество писателя благоприятно повлияло на развитие киноискусства Киргизии, стало своеобразным маяком на пути стремительного развития киргизского кино, достигшего таких больших успехов, что даже заговорили о "киргизском чуде".

В 1986 году киргизские писатели избрали его председателем правления Союза писателей республики.

Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской, Государственной премий СССР, международных премий имени Джавахарлала Неру (Индия) и "Этрурия" (Италия), академик Всемирной Академии наук и искусств, действительный член Европейской Академии наук, искусств и литературы, почетный член-корреспондент Академии искусств ГДР, академик Академии наук Киргизской ССР, Президент Иссык-Кульско-

го форума и член Римского клуба - это все одно лицо - Чингиз Айтматов.

Писатель не остается в стороне от проблем жизни не только своей республики и страны, но и всей нашей планеты.

Примером этого служит Иссык-Кульский форум, который стал действительно уникальной встречей деятелей мировой культуры и искусства, интеллектуалов разных стран. В октябре 1986 года по приглашению Чингиза Айтматова на его родной земле, на берегу озера Иссык-Куль, встретились для неформального обмена мнениями по вопросу будущего планеты хорошо известные миру прогрессивные деятели: писатель и актер Питер Устинов (Великобритания), ученые футурологи Олвин и Хайди Тоффлер (США),художник Афеверк Текле (Эфиопия), Президент Римского клуба Александр Кинг, писатель, лауреат Нобелевской премии Клод Симон (Франция), его собратья по профессии Артур Миллер и Джеймс Болдуин (США), Лисандро Отеро (Куба), Яшар Кемаль (Турция), общественный деятель Федерико Майор (Испания), физик Аугусто Форти (Италия) и другие.

Лозунгом этого движения стало "Выживание через творчество". Участники встречи предложили идею всепланетарной подготовки встречи третьего тысячелетия как торжества мира, гуманизма и созидания. Деятельно участвуя во многих международных форумах, Чингиз Айтматов утверждает величие общечеловеческой культуры и литературы и не жалеет сил в борьбе за мир и дружбу между народами...

Серьезный литературный успех пришел к Чингизу Айтматову с выходом повести "Лицом к лицу", а исполненная лиризма, поэзии и гуманизма повесть "Джамиля" принесла ему

мировую известность. "Самая прекрасная на свете повесть о любви", - писал крупнейший французский писатель Луи Арагон.

Одна за другой выходят повести и романы: "Тополек мой в красной косынке", "Первый учитель", "Материнское поле", "Прощай Гульсары", "Белый пароход", "Ранние журавли", "Пегий пес, бегущий краем моря", "И дольше века длится день", "Плаха", оказавшие высокое духовное воздействие на тысячи и тысячи читателей. Герои Айтматова предстают в своем многообразном единении с народом, природой, родной землей.

Советская и зарубежная печать оценивают произведения писателя как значительное явление в мировой художественной культуре. В отечественном и зарубежном литературоведении сложилось уже емкое "айтматоведение". О возрастающем интересе к философским и нравственным поискам писателя свидетельствует поток публикаций о его творчестве.

На имя автора поступают письма, телеграммы и послания со всех уголков Земли. Читателей объединяет гуманизм, жажда справедливости, сопричастности к проблемам войны и мира.

Идейно-эстетические открытия писателя внесли лепту не только в многонациональную советскую литературу, но и в мировую художественную мысль. Благодаря творчеству писателя киргизская литература и искусство приобрели мировую известность.

"Белое облако Чингисхана" написано на основе легенд, преданий, мифов, давно ставших для Айтматова неистощимым источником вдохновения. О Чингисхане написано великое множество книг. "Белое облако ..." отличается от

всех этих произведений не только содержанием, но прежде всего тем, что автор сумел раскрыть новые стороны образа древнего завоевателя, используя для этого старую легенду. В "Белом облаке..." на первый план выходит обыкновенная человеческая психология, прячущаяся в тени вселенской славы Чингисхана. Обнажив и преломив через призму своего художественного восприятия внутренний мир Чингисхана, Айтматов сумел показать, что и людям, купающимся в славе, величии, людям, которым все под силу, людям, которым, казалось бы, чужды досада, огорчения, неудачи, свойственны такие человеческие чувства, как бессилие перед чем-либо, страх, растерянность перед какой-либо задачей. Главной целью писателя было показать Чингисхана не во время военных битв, а в будничной обстановке кочевой жизни. Писатель не делал особого нажима на плохие или хорошие черты характера Чингисхана. Напротив, события, изображаемые автором с глубоким психологизмом, острым драматизмом, органично приводят нас к глубоким философским обобщениям. Очевидно, что автор, давая моральную, философскую оценку легенде, прежде всего думает и тревожится о будущем каждого человека. И снова писатель своим творчеством подтверждает, что любая проблема, которой он касается в своих произведениях - есть проблема общечеловеческая. В этом отношении и легенда о Чингисхане несет в себе такие понятия и категории, как любовь и ненависть, жизнь и смерть, власть и бессилие, доброта и жестокость, человеколюбие и бесчеловечность.

Белое облако стало для автора великолепной лирической деталью, рефреном всего произведения. Этот образ связан в повести с историей Чингисхана, посредством которой писатель пы-

тается отразить один из современных вопросов вселенского значения - проблему личности и власти.

Для Айтматова белое облако - это символ добра, благословляющего человеческую жизнь, прославляющего вечность жизни, чистоту помыслов, нетленность и святость таких понятий, как честь и совесть.

Художественное отражение добра, человечности, высокой нравственности - подлинное творческое кредо писателя. И потому белое облако можно рассматривать как идеальную творческую находку, несущую в произведении значительную идейно-этическую нагрузку, разграничивающую такие категории, как добро и зло, и высвечивающую внутренний мир человека. За внешней простотой образа скрываются извечные общечеловеческие понятия. И именно в этом особая значимость нового произведения писателя. Только большому таланту дано донести свой голос до больших и малых народов, независимо от языка, на котором они говорят, вероисповедания, политического и экономического уклада. Истинный талант черпает свое вдохновение не только во внутренней одухотворенности, но и в самой обыкновенной жизни. Этим он и понятен читателям, этим он и велик!..

Что общего в образах Абуталипа, Тансыкбаева, Догуланг, Эрдене, Чингисхана? Различными средствами изображая каждого героя в отдельности, Айтматов в то же время, показывает, что их объединяют проблемы, свойственные жизни человека вообще. Гордое имя - Человек! Однако, не каждый может с достоинством пронести по жизни это великое, высокое имя. Человечность - это значит не быть жестоким по отношению к другим, не желать зла ближнему

своему, не завидовать, не быть себялюбцем, не унижать других, не злоупотреблять и не кичиться властью, богатством, славой, не менять любовь на ненависть, не называть черное белым и белое черным... Вот таково определение человечности, которое можно вынести из "Белого облака..."

"Белое облако Чингисхана" органично вливается в общую канву романа, и с уверенностью можно сказать, что эта глава подробно отвечает на те вопросы, которые могли бы возникнуть у читателей, чьи сердца тронула нелегкая судьба Абуталипа.

Однако, если помнить об ее цельности, завершенности, сюжетно-стилевом содержании, о новых героях, получивших право на жизнь только в этой главе, то эту дополнительную главу вполне можно воспринимать как самостоятельную повесть. И нет сомнения, что это глубоко психологическое, философское произведение найдет отклик в сердцах читателей во всех уголках нашей планеты.

"Художник и народ - две сопряженные величины. Народ рождает таланты, и он же, народ, - сеятель и хранитель всего лучшего, что создают его мастера. Связь тут обратная, художник - духовная опора народа, народ - духовная опора художника", - говорит Чингиз Айтматов. Думается, что и сам автор этого высказывания - один из таких достойных представителей своего народа.

АБДЫЛДАЖАН АКМАТАЛИЕВ,
лауреат премии Ленинского
комсомола Кыргызстана,
доктор филологических наук

БЕЛОЕ ОБЛАКО ЧИНГИСХАНА

Повесть к роману

Читателю предлагается повесть к роману. Что это - новый жанр? Разумеется, жанра такого не бывает. Но если допустить, что в жизни всякое случается, то имеется в виду повесть к роману "И дольше века длится день", опубликованному в "Новом мире" девять лет тому назад. Не стану рассказывать, почему этого текста не было в первоначальном варианте в пору идеологического диктата, когда всевидящие цензоры и разного рода "мнения сверху" решали участь произведения в административном порядке. Нередко приходилось ради прохождения книги "в целом" соглашаться на наименьшее из зол, чтобы, образно говоря, не перегрузить корабль, идущий к читательским берегам в жестокий шторм.

Далеко не всегда удавалось "допеть недопетую песню". Но вот такая возможность представилась. И я предлагаю... эту часть моего старого "нового" романа. Должен сказать, что в повести использовано одно из устных преданий кочевья о Чингисхане, миф, мало соотносимый с исторической действительностью, но много говорящий о народной памяти ...

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ

Поезда в этих краях шли с запада на восток и с востока на запад...

Пробиваясь сквозь белую летучую мглу, беспрестанно вздымаемую ветрами с холодных сарозекских равнин, машинистам проходящих поездов в те метельные февральские ночи стоило немало усилий разглядеть среди снежных заносов в степи полустанок Боранлы-Буранный. Объятые клубящимися вихрями, ночные поезда приходили и уходили во мгле, как в беспокойном, тревожном сновидении...

В такие ночи, казалось, мир зарождался заново из первозданного хаоса - сокрытые стужей собственного дыхания, сарозекские степи походили на дымный океан, возникающий в кромешном борении тьмы и света...

И в том великом пустынном пространстве каждую ночь, не угасая до утра, светилось одно окошко на полустанке, точно там, за этим окном, горько маялась некая душа, точно там кто-то тяжко болел, не находя себе места, или страдал от жестокой бессонницы. То было окошко пристанционного барака, в котором жила семья Абуталипа Куттыбаева. Это они, его жена и дети, ждали его каждый день, не гася света на ночь, и среди ночи Зарипа несколько раз подрезала нагоравший фитиль в лампе. И всякий раз при заново разгоравшемся огне она невольно останавливала взгляд на спящих детях - двое черноголовых мальчишек спали, как пара щенят. И ее знобило под нательной рубашкой от холода, и, сомкнув руки на груди, сжимаясь в комок, страшилась она, глядя на них, боялась, что снится сыночкам отец и что они бегут во сне к отцу изо всех сил, раскинув руки, плача и смеясь, бегут наперегонки, но так и не добегают... И наяву они ждали отца с любым проходящим поездом, который, пусть на полми-

нуты, притормаживал на их разъезде. Только остановится поезд, скрипя тормозами, а мальчишки уже тянут шеи у окна, готовые броситься навстречу. Но отец не объявлялся, дни шли, и никаких вестей о нем не поступало, точно остался он под внезапно рухнувшим обвалом в горах, и никто не знал, где и когда с ним это случилось.

И еще одно окно, но зарешеченное черным кованым железом, в другом конце земли, в полуподвале алма-атинского следственного изолятора, тоже не гасло в те ночи до утра. Вот уже целый месяц изводился Абуталип Куттыбаев от слепящей с потолка круглыми сутками многосильной электрической лампы. То было его проклятием. Он не знал, куда деваться, как защитить от сверлящего, режущего, как нож, электрического света свои изболевшиеся глаза, свою горемычную голову, чтобы хотя бы на секунду забыться, перестать думать, почему он здесь и что от него хотят. Как только он отворачивался ночью к стене, закрыв голову рубахой, немедленно в камеру врывался надзиратель, наблюдавший в глазок, сбрасывал его с нар, пинал ногами: "Не отворачивайся к стене, сволочь! Не закрывай голову, гад! Власовец!" И сколько он ни кричал, что он не власовец, никакого до этого дела им не было.

И снова лежал он, обратившись лицом к беспощадному электрическому свету, зажмурившись, прикрывая изболевшиеся воспаленные глаза, и мучительно жаждал очутиться во тьме, в беспросветной черноте, пусть в могиле, где глаза и мозг могли бы прекратить свое существование, и уж тогда никакой надзиратель и никакой следователь не властны были бы пытать его невыносимой мукой - светом, лишением сна, избиениями.

Надзиратели менялись по сменам, но все, как один, были непреклонны - никто из них не помилосердствовал, ннкто не позволил себе не заметить, как отвернулся узник к стене, напротив, они только и ждали того, и каждый наносил удары с яростью и бранью. Хотя и понимал Абуталип Куттыбаев назначенне и обязанности тюремного надзирателя, тем не менее в отчаянии спрашивал себя порой: "Отчего же они такие? Ведь с виду люди. Как можно носить в себе столько злобы? Ведь никому из ннх я не сделал никакого зла. Они не знали меня, я не знал их, но избивают, нздеваются, словно из кровной мести. Почему? Откуда берутся такие люди? Как они становятся такими? За что онн меня истязают? Как выдержать, как не свихнуться, как не расшибить себе голову о стену?! Потому что другого выхода нет".

Однажды он-такн не выдержал. Будто полыхнула в нем белая молния. Сам не понял, как схватился с надзирателем, пинавшим его. И онн покатились по полу в яростной драке. "Я бы тебя на фронте давно пристрелил, как бешеную собаку!" - хрипел Абуталип, раздирая с треском ворот гимнастерки надзнрателя, стискивая его горло цепенеющими пальцами. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы не подоспели из коридора еще двое стражей.

Пришел в себя Абуталип лишь на следующий день. Первое, что он увидел сквозь муть и боль, - ту же негаснущую лампу на потолке. Потом хлопотавшего над ним фельдшера.

- Лежи, теперь ты уже не отправишься на тот свет, - негромко сказал ему фельдшер, прикладывая примочки к пораненному лбу, - и не будь больше последним дураком. Тебя и сейчас моглн бы прикончить за нападение на охрану, прибнли бы, как собаку, и никакого за тебя ответа.

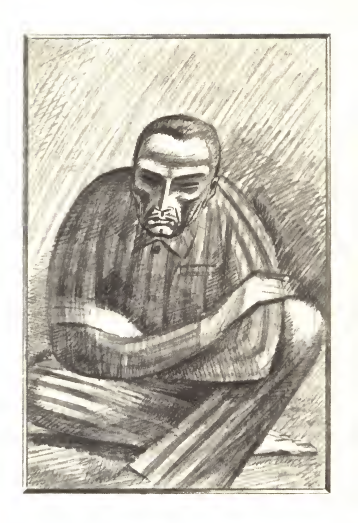
Благодари Тансыкбаева - ему нужен не твой труп, а ты сам, живьем. Понял?

Абуталип тупо молчал. Ему было все равно, что с ним случится, как обернется его судьба. Способность души к страданию вернулась не сразу.

В те дни у него случались моменты затмения разума - утрата реальности, полуявь становились спасительной защитой. В такие мгновения Абуталип желал не прятаться, не избегать направленного света, а наоборот - он стремился навстречу тому неумолимому мучительному излучению, которое сводило его с ума, и ему казалось, что он витает в воздухе, приближаясь к источнику боли и раздражения, превозмогая себя, чтобы одолеть силу непрерывно ослепляющего света, чтобы раствориться и исчезнуть в небытии.

Но и тогда в истерзанном сознании сохранялась связующая нить с тем, что осталось в былом: то была гнетущая, неотступная тоска, неотступный страх за семью, за детей.

Страдая невыносимо за них, оставшихся в сарозеках, пытался Абуталип вершить суд над собой, разобраться в своей вине, пытался ответить - за что действительно следовало бы его наказать. И не находил ответа. Разве что за плен, за то, что оказался в немецком плену, как и тысячи других обреченных окруженцев. Но сколько можно за это карать? Война далеко позади. Давно все оплачено сполна - и кровью, и лагерями, уже не за горами время расходиться по могилам всем тем, кто был на войне, а обладающий безграничной властью все мстит, все не унимается. А иначе как понять происходящее? Не находя ответа, лелеял Абуталип мечту, что со дня на день станет ясно, что с ним произошло досадное недоразумение, и тогда,



он, Абуталип Куттыбаев, будет готов забыть все обиды - пусть только побыстрее освободят и отправят побыстрее домой, и помчится он, нет, полетит, как на крыльях, туда, к детям, к семье, в сарозеки, на разъезд Боранлы-Буранный, где его ждут не дождутся детишки Эрмек и Даул, жена Зарипа, что в той снежной степи сберегает детишек, как птица под крылом, у колотящегося сердца, и слезами, нескончаемыми мольбами пытается пронять, убедить, смягчить судьбу, вымолить милосердие, чтобы мужу вышло спасение...

Чтобы не заорать навзрыд с горя, чтобы не впасть в безумие, начинал Абуталип грезить, ища в том обманчивое успокоение - зримо представлял себе как он, оправданный за отсутствием вины, явится вдруг домой. Представлял себе, как соскочит с подножки попутного товарняка, на котором доберется домой, и как побежит к дому, а они - жена и дети - навстречу... Но проходили минуты иллюзий и, как с похмелья, возвращался он в реальность, впадал в уныние, и думалось ему подчас, что в "Сарозекской казни", в той легенде, которую он записал, страдания казнимых матери и отца, их прощание с младенцем - нечто вечное, касающееся теперь и его. Он тоже казним разлукой... А ведь только смерть имеет право разлучать родителей с детьми и больше ничто и никто...

Тихо плакал Абуталип в такие горестные минуты, стыдясь себя, не зная, как унять слезы, увлажнявшие, точно накрапывающий дождь камни, его крепкие скулы. Ведь даже на войне он так не страдал, тогда он, бедовая голова, был сам по себе, а теперь он убеждался, что в, казалось бы, обыденнейшем явлении - в детях - заключен величайший смысл жизни, и в каждом конкретном случае, у каждого человека - свое

счастье, счастье, что они есть, и трагедия, если остаться без них... Теперь он убеждался и в том, сколь много значила сама жизнь пред ее утратой, когда в последний час, в озарении последнего, жуткого света перед неизбежным уходом во тьму, настанет подведение итогов. И главный итог жизни - дети. Возможно, потому так и устроено в природе - жизнь родителей расходуется на то, чтобы вырастить свое продолжение. И отнять родителя от детей - значит лишить его возможности исполнить родовое предназначение, значит обречь его жизнь на пустой исход. И трудно было в такие минуты прозрения не впадать в отчаяние; растрогавшись, почти воочию представив себе сцену свидания, Абуталип осознавал несбыточность надежды и становился жертвой безысходности. С каждым днем тоска все глубже завладевала его душой, сгибая и ослабляя волю. Отчаяние накапливалось в нем, как мокрый снег на крутом склоне горы, где вот-вот последует внезапный обвал...

Это-то и надо было следователю МГБ Тансыкбаеву, этого-то он и добивался методично и целеустремленно, раскручивая сатанински задуманное им, с одобрения вышестоящего начальства, дело бывшего военнопленного Абуталипа Куттыбаева о связях его с англо-югославскими спецслужбами и проведении им подрывной идеологической работы среди местного населения в отдаленных районах Казахстана. Такова была общая формулировка. Еще предстояла работа следствия по уточнению и квалификации некоторых деталей, еще предстояло полное признание Абуталипом Куттыбаевым состава преступления, но главное содержалось уже в самой формулировке обвинения чрезвычайной политической актуальности, свидетельствующего об исключительной бдительности и

служебном рвении Тансыкбаева. И если для Тансыкбаева это дело было большой удачей в жизни, то для Абуталипа Куттыбаева то был капкан, круг обреченности, ибо при такой устрашающей формулировке исход мог быть только один - полное признание инкриминируемых ему преступлений со всеми вытекающими отсюда последствиями. Никакого иного исхода быть не могло. То был случай абсолютно предрешенный, само обвинение уже служило безусловным доказательством преступления.

И поэтому о конечном успехе своего предприятия Тансыкбаев мог не беспокоиться. Той зимой настал наконец звездный час его карьеры. Из-за незначительного служебного упущения он на несколько лет задержался в звании майора. Но теперь открывалась новая перспектива. Совсем не так часто удавалось добыть в глубинке нечто подобное делу Абуталипа Куттыбаева. Вот уж повезло так повезло.

Да, можно сказать, что в те февральские дни 1953 года история благоволила к Тансыкбаеву; казалось, история страны только для того и существовала, чтобы с готовностью служить его интересам. Не столько осознанно, сколько интуитивно, он ощущал эту добрую услугу истории, все усиливавшей первостепенную значимость его службы, а тем самым все более возвышавшей и его самого в его собственных глазах, и потому испытывал возбуждение и подъем духа. Глядя в зеркало, он удивлялся подчас - давно так молодо не сияли его немигающие соколиные глаза. И он расправлял плечи, удовлетворенно напевал под нос на чистейшем русском языке: "Мы рождены, чтоб сказку сделать былью ..." Жена, разделявшая его ожидания, тоже была в хорошем настроении

и приговаривала при случае: "Ничего, скоро и мы получим свое". И сын, старшеклассник, комсомольский активист, и тот, хотя, бывало, проявлял непослушание, когда касалось заветного, проникновенно спрашивал: "Папа, скоро с подполковником поздравлять?" На то были свои конкретные причины, пусть не касавшиеся Тансыкбаева впрямую и однако же...

Дело в том, что сравнительно недавно, около полугода тому назад в Алма-Ате состоялся закрытый процесс: военный трибунал судил группу казахских буржуазных националистов. Эти враги трудового народа искоренялись беспощадно и навсегда. Двое получили высшую меру наказания - расстрел - за свои написанные на казахском языке научные труды, в которых идеализировалось проклятое патриархально-феодальное прошлое в ущерб новой действительности, двое научных сотрудников Института языка и литературы Академии наук - по двадцать пять лет каторги... Остальные - по десять... Но главное заключалось не в этом, а в том, что в связи с процессом из центра последовали крупные государственные поощрения спецсотрудникам, принимавшим непосредственное участие в изобличении и беспощадном искоренении буржуазных националистов. Правда, госпоощрения тоже носили закрытый характер, но это нисколько не умаляло их весомости. Досрочное присуждение очередных званий, награждение орденами и медалями, крупные денежные вознаграждения за образцовое выполнение заданий, благодарности в приказах и прочие знаки внимания очень даже украшали жизнь. И вселение особо отличившихся в новые квартиры было очень кстати. От всего этого нога крепла, голос мужал, каблук стучал уверенней.

Тансыкбаев не входил в ту группу повышенных в званиях и награжденных, но в торжествах коллег принимал активное участие. Почти каждый вечер они с женой Айкумис отправлялись в очередной "обмыв" новых званий, орденов, новоселий. Целая череда праздничных застолий началась еще в канун Нового года, и они были прекрасны, незабываемы. Слегка продрогшие после холодных, плохо освещенных алма-атинских улиц, гости с порога окунались в радушие и тепло ожидавших в новых квартирах хозяев. И столько неподдельного сияния, оживления и гордости изливали встречавшие на пороге лица, глаза! Поистине, то были праздники избранных, заново познающих вкус счастья. В ту пору, когда еще не забылись недавние нищета и голод военных лет, на окраинах государства особенно восторженно, до головокружения от удовольствия, воспринимался новый, рафинированный комфорт. Здесь, в провинции, только входили в моду дорогие марочные коньяки, хрустальные люстры и хрустальная посуда. С потолков нисходило граненое сияние трофейных люстр, на столах, покрытых белоснежными скатертями, мерцали трофейные немецкие сервизы, и все это захватывало, предрасполагало к благоговейному настроению, точно в этом заключался высший смысл бытия, точно ничего иного достойного внимания в мире не могло и быть.

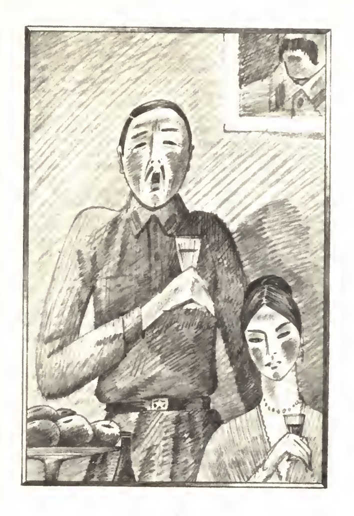
Уже в прихожей витали запахи кухни, где готовилось, помимо прочего, непременное коронное блюдо - нежная, молодая конина, дедовская пища, унаследованная от кочевой жизни, причудливо источавшая и в новых стенах давнишные степные ароматы. И все собравшиеся чинно рассаживались, предвкушая общую трапезу. Но смысл застолья заключался

не только и не столько в еде, ибо, насытившись, человек начинает внутренне страдать от обилия кушаний перед ним, сколько в застольных высказываниях - в поздравлениях и благопожеланиях. В этом ритуале таилось нечто нескончаемо сладостное, и это сладостное самочувствие вмещало в себя и поглощало все, что таилось в душе. Даже зависть на время становилась как бы не завистью, а любезностью, ревность - содружеством, а лицемерие ненадолго оборачивалось искренностью. И каждый из присутствующих, преображаясь удивительным образом в похвальную сторону, высказывался как можно умнее, а главное - красноречивей, невольно вступая в негласное состязание с другими. О, это было по-своему захватывающее действо! Какие великолепные тосты взмывали, подобно птицам с ярким оперением, под потолки с трофейными люстрами, какие речи изливались, как писаные, заражая присутствующих все более высоким пафосом..

Особенно взволновал Тансыкбаева и его жену тост одного новоиспеченного казахского подполковника, когда тот, торжественно встав изза стола, заговорил так проникновенно и важно, как если бы он был артистом драматического театра, исполнявшим роль короля, восходящего на трон.

- Асыл достар*, - начал подполковник, многозначительно оглядывая сидящих томным, величавым взглядом, как бы подчеркивая тем самым необходимость полного, совершенно серьезного внимания. - Вы сами понимаете, сегодня душа моя полна - море счастья. Понимаете. И я хочу сказать слово. Это мой час, и я хочу сказать.Понимаете. Я всегда был безбожником. Я вырос в комсомоле. Я твердый

*Асыл достар - дорогие друзья (казах.)



большевик. Понимаете. И очень горжусь этим. Бог для меня пустое место. То, что бога нет, всем известно, каждому советскому школьнику. Но я хочу сказать совсем о другом, понимаете, о том, что есть на свете бог! Минуточку, постойте, не улыбайтесь, дорогие мои. Ишь вы! Думаете, поймали меня на слове. Нет, нисколько! Понимаете. Я не имею в виду бога, выдуманного угнетателями трудовых масс до революции. Наш бог - это держатель власти, волей которого, как пишут в газетах, вершится эпоха на планете, и мы идем от победы к победе, к мировому торжеству коммунизма; это наш гениальный вождь, держащий повод эпохи в руке, как, понимаете, держит вожак каравана повод головного верблюда, это наш Иосиф Виссарионович! И мы следуем за ним, он ведет караван, и мы за ним - одной тропой. И никто, думающий иначе, чем мы, или имеющий в мыслях не наши идеи, не уйдет от карающего чекистского меча, завещанного нам железным Дзержинским. Понимаете. Врагам мы объявили борьбу до конца. Их род, их семьи и всякие сочувствующие элементы уничтожаются во имя пролетарского дела, понимаете, как листья по осени сжигаются огнем в одной куче. Потому что идеология может быть только одна, понимаете, и никакая другая. Вот мы с вами очищаем землю от идеологических противников - буржуазных националистов, понимаете, и прочих, и где бы ни затаился враг, кем бы он ни прикидывался, нет ему никакой пощады. Везде и всюду разоблачать классового врага, выявлять вражескую агентуру, понимаете, как учит нас товарищ Сталин, бить врага, укреплять дух народных масс - вот наш девиз. Сегодня, когда меня отличили, когда зачитан приказ о досрочном присвоении звания, я клянусь и впредь неуклон-

но следовать сталинской линии, понимаете, искать врага, находить и обнажать его преступные замыслы, за которые он понесет неотвратимое, суровое наказание. Понимаете ли, главных националистов мы обезвредили, но притаились в институтах и редакциях сочувствующие. Но и они никуда от нас не уйдут, и не будет никакой им пощады. Как-то на допросе мне один националист, понимаете, говорит, все равно, говорит, ваша история зайдет в тупик, и вы будете прокляты, как дьяволы.

Понимаете?!

- Такого надо было на месте пристрелить! - не удержался Тансыкбаев и даже привстал сердито.

- Верно, майор, я бы так и поступил, - поддержал его подполковник, - но он еще нужен был для следствия, и я ему сказал, понимаете, я ему сказал: пока мы зайдем в тупик, тебя, сволочь, давно уже не будет на свете! Собака лает, а сталинский караван идет...

Все разом захохотали, зааплодировали, одобряя достойную отповедь тому ничтожному националисту, все разом встали с вытянутыми наготове бокалами в руках. "За Сталина", - выдохнули все разом, и все выпили, демонстрируя друг другу опустевшие бокалы, как бы подтверждая тем самым истинность сказанных слов и свою верность им.

Затем было сказано еще многое в продолжение этой мысли. И слова эти, самовоспроизводясь и умножаясь, долго еще кружились над головами собравшихся, накопляя в себе скрытый гнев и ярость, как рой распаленных диких ос, все более озлобляющихся оттого, что они ядоносны и их много.

В душе же Тансыкбаева вскипала своя крутая волна, будоражила в нем свои мысли,

укрепляя его решимость, и не потому, что подобные высказывания были внове для него, вовсе нет, напротив, вся его жизнь и жизнь всех его многочисленных сослуживцев так же, как и всего обозримого общественного окружения, протекала изо дня в день именно в этой атмосфере беспрерывного подстегивания, неукротимой борьбы, названной классовой и потому во всем абсолютно оправдываемой. Но была тут одна негласная проблема. Для постоянного накала борьбы нужны были все новые и новые объекты, новые направления разоблачений; поскольку многое в этом смысле было уже отработано, едва ли не исчерпано до дна, вплоть до депортации целых народов в погибельные ссылки в Сибирь и Среднюю Азию, то стало все труднее собирать "поголовный" урожай с полей, прибегая на старый лад к обвинениям в наиболее ходовом на национальных окраинах варианте - в буржуазно-феодальном национализме. Наученные горьким опытом, когда по малейшему доносу в идеологической сомнительности того или иного лица незамедлительно следовала расправа с ним и близкими ему, люди уже не допускали роковых ошибок, не говорили и не писали ничего такого, что можно было бы истолковать как проявление национализма. Напротив, многие стали чересчур осторожны и осмотрительны, настолько, что громогласно отрицали любые национальные ценности, вплоть до отказа от родного языка. Попробуй схвати такого, если на каждом шагу он заявляет, что говорит и думает непременно на языке Ленина...

И именно в этот оскудевший событиями период, трудный для наращивания борьбы по выявлению новых скрытых врагов, майору Тансыкбаеву, пусть и случайно, но все же

повезло. Донос на Абуталипа Куттыбаева с разъезда Боранлы-Буранный попал ему в руки как довольно второстепенный по значимости материал, скорее для ознакомления, нежели для серьезного расследования. Однако Тансыкбаев не упустил своего. Чутье не подвело его. Тансыкбаев не поленился, съездил на место разобраться и теперь все больше убеждался, что это скромное, на первый взгляд, дело при соответствующей обработке может обрести достаточную весомость. И, стало быть, если все образуется как надо, то поощрения свыше наверняка не обойдут и его. Разве не свидетель он подобного торжества в данный момент за данным столом, разве не знает он, как устраиваются подобные вещи? Разве худо ему среди этих хорошо знакомых людей, верой и правдой преданных Богу-Власти и поэтому блаженствующих сегодня с хрусталем на столе и на потолке? Но путь к Богу-Власти только один - через черное, неустанное служение ему в выявлении и разоблачении замаскировавшихся врагов.

А среди врагов следует особенно бдительно следить за теми, кто побывал в плену. Они преступники уже потому, что не пустили себе пулю в лоб, ибо обязаны были не сдаваться, а умереть и этим доказать свою абсолютную преданность Богу-Власти, который требовал неукоснительного - умереть, но не сдаваться в плен. А кто сдался, тот - преступник. И неизбежная кара за это должна служить предупреждением всем, на все времена - на все поколения. Такова установка самого Вождя - Бога-Власти. Куттыбаев же, взятый им на расследование, как раз из числа бывших военнопленных, причем, что чрезвычайно важно, в его деле есть очень нужная зацепка, очень

актуальная деталь - если удастся выбить у Куттыбаева признание на этот счет, пусть даже небольшой факт, то и это может пригодиться в большом деле, как гвоздок на своем месте, - послужить для разоблачения изначально предательских замыслов ревизионистской клики Тито-Ранковича, претендующей на особый путь развития Югославии без одобрения Сталина. Ишь, чего захотели! Давно ли кончилась война, а они уже отделяться решили. Не выйдет! Сталин развеет в прах эту идею и пустит ее по ветру. И совсем нелишне будет при этом доказать в очередной раз, пусть на малом факте, что предательские ревизионистские идеи зарождались в Югославии уже давно, еще в годы войны среди партизанских командиров, и что происходило это под прямым влиянием английских спецслужб. А в записках Абуталипа Куттыбаева есть воспоминания, как югославские партизаны встречались с англичанами, стало быть, все основания заставить его сказать то, что требуется сейчас. А раз так, необходимо добиться этого во что бы то ни стало. Расшибиться в лепешку, но заставить этого сарозекского писаку выложить все, что надо. Ведь в политике пригодно все, что летит в подветренную сторону. Каждая мелочь может пригодиться, может послужить камнем, брошенным во врага, чтобы добить его в идейной схватке. Отсюда возникает задача добыть тот камень, даже камушек, и, пусть символически, но как бы самолично, от сердца, вложить его, тот лишний камушек, в руку самого Бога-Власти, чтобы, если не сам Он, то поручил бы, кому следует, пульнуть тем камнем в прихвостней, как пишут в газетах, ненавистного ревизиониста Тито и его приспешника Ранковича. А не пригодится, скажут: мелковат, все равно усер-

дие зачтется... Глядишь, все, кто сидит сейчас за столом, окажутся и у него, будут сидеть вот так в его доме по отменному случаю. Ведь смысл жизни - в счастье, а успех - начало счастья.

Об этом думалось в тот званый вечер кречетоглазому Тансыкбаеву, и, сидя за столом и вроде бы по ходу разговора перебрасываясь репликами с другими, он, как пловец в бурном потоке реки, плыл в тот час в нарастающей стремнине своих страстей и вожделений. И лишь жена его Айкумис, хорошо знавшая мужа, заметила, что с ним что-то происходит, что он готовится к чему-то, как ярый зверь, вышедший ночью на охоту и уже учуявший добычу. Она видела это по его глазам, немигающий, соколиный взор которых временами то леденел, то покрывался дымкой взволнованности. И поэтому она шепнула ему: "Отсюда уйдем вместе со всеми и только домой". Тансыкбаев нехотя кивнул в ответ. Не стал при людях возражать, хотя стоило бы. В его голове вызревал новый, более широкий план действий. Ведь вместе с Куттыбаевым в югославских партизанах побывало много других пленных, сегодня отсиживающихся по углам, - стало быть, они тоже могут что-то знать, что-то вспомнить, не так трудно заставить Куттыбаева назвать наиболее активных из них. Необходимо поднять материалы, завтра же надо сделать соответствующий запрос. Или же самому как можно скорее побывать в центре. И разобраться, раскопать и заставить Куттыбаева подтвердить нужное. А затем, на основе его показаний, предъявить обвинения бывшим военнопленным, воевавшим в Югославии, привлечь этих лиц заново к ответственности за недоносительство, за сокрытие при прохождении комиссии по депортации в Советский Союз предательских замыслов югослав-

ских ревизионистов. И людей такого сорта может обнаружиться не одна сотня и не одна тысяча, которых следовало бы - и надо подать эту идею, скорей всего в форме секретной записки - пропустить через мельницу допросов, чтобы затем загнать эту публику в лагеря и на том положить конец...

При этой мысли, осенившей его за столом, уставленным всяческой снедью и коньячными рюмками, Тансыкбаев почувствовал подъем настроения, захотелось еще выпить, захотелось еще закусить, петь, тормошить соседей и смеяться от удовольствия и предощущения какого-то нового поворота в жизни. Он окинул сидящих благодарным взором таинственно засиявших глаз, ведь все присутствующие были свои, родные люди, одним миром мазанные и оттого столь приятные в ту минуту, и они не подозревали, эти родные люди, что присутствуют при моменте, когда у него рождаются великие идеи. Все это вызвало горячий прилив крови к голове и радостные, учащенные удары ликующего, звенящего сердца.

Возникший замысел заключал в себя вполне реальную перспективу повышения по службе. Получалось разумно и логично: чем больше вытравишь притаившихся врагов, тем больше выиграешь и сам. Такая перспектива окрыляла душу. И он подумал не без гордости: "Вот так устраивают умные люди свои дела! И я не остановлюсь на полпути, чего бы это ни стоило!" И захотелось немедленно действовать - тотчас вызвать машину из гаража и помчаться туда, в полуподвал с зарешеченными окнами, называемый следственным изолятором, где сидел Абуталип Куттыбаев, и сразу приняться за дело - допрашивать, не теряя времени, прямо там, в камере, да так допрашивать, чтобы душа

у того от страха в кишках замирала. И никаких двусмысленностей насчет исхода дела; признает Куттыбаев вину, подтвердит англо-югославские задания, назовет всех, кто вместе с ним был в партизанах, - получит 58 статью с пунктом 1-"б" - 25 лет лагерей, а нет - расстрел за измену, за агентурное сотрудничество с иностранными спецслужбами и идеологически подрывную работу среди местного населения. Пусть крепко подумает.

Представляя себе, как все это будет происходить, Тансыкбаев многое предвидел наперед: и то, как сложится разговор на допросе, как будет упираться Куттыбаев и какие меры придется предпринять, чтобы сломить его, но он знал также, что все равно тот никуда не денется, выбора у него нет, если хочет жить. Конечно, будет упорно оправдываться, дескать, ни в чем не виновен, плен искупил с оружием в руках, воюя вместе с югославскими партизанами, был ранен, пролил кровь, по окончании войны прошел депортационную комиссию, после войны честно трудился и т.д. и т.п. Все это пустой разговор. Откуда Куттыбаеву знать, что он нужен не в этом, а совсем в ином качестве. И что в том качестве, в котором он требуется, он послужит началом целой акции по искоренению затаившихся врагов государства. Он нужен как первое звено, за которым потянется вся цепь. Что может быть выше государственных интересов? Иные думают - жизнь людская. Чудаки! Государство - это печь, которая горит только на одних дровах - на людских. А иначе эта печь заглохнет, потухнет, и надобности в ней не будет. Но те же люди не могут существовать без государства. Сами себе устраивают сожжение. А кочегары обязаны подавать дрова. И на том все стоит.

Философствуя обо всем этом, поскольку в партшколе когда-то кое-что слышал о классических учениях, сидя за столом рядом с женой, от которой, казалось бы, трудно укрыть мысли, успевая кивать и поддакивать соседям в общем разговоре, Тансыкбаев восхищался втайне тем, как чудесно устроен человек. Вот, к примеру, он сидит в компании, в званых гостях, делает вид, будто целиком и полностью поглощен значимостью этого момента, а сам думает совершенно о другом. Кто может представить, на что он нацелился, какие вызревают у него планы?! Сознание того, что в нем, мирно сидящем за столом, таится нечто сокрушительное, неотвратимое, зависящее только от его воли, что пока никому не доступны его замыслы, скрытая сила которых, реализуясь, заставит людей ползать на коленях перед ним, а через него - и перед самим Богом-Властью, и что в этой связи он является одной из ступеней среди множества, и все-таки считанных, ступеней к устрашающему пьедесталу Бога-Власти, вызывало в нем физическое блаженство и нетерпение, как при виде вкусной еды или в исступленном предощущении совокупления. И от каждой следующей рюмки это возбуждение в нем все больше нарастало и завладевало им, растекаясь по телу истомой ускоряющихся кровотоков, и ему стоило немалых усилий сдерживаться, твердя себе, что он начнет осуществлять свой план не далее как завтра, что он все еще успеет.

Перебирая в уме детали предстоящего дела, Тансыкбаев испытывал чувство глубокого удовлетворения основательностью своих намерений, логичностью замысла. И все же было ощущение, что чего-то еще вроде не хватает, требовалось еще что- то додумать, и какие-то улики вроде

остались еще не задействованы, не осмыслены в достаточной мере.

К примеру, что-то ведь таилось в записях Куттыбаева о манкурте. Манкурт! Оболваненный манкурт, убивший свою мать! Да, конечно, это старинная легенда, но что-то записывавший легенду Куттыбаев ведь имел в виду?! Не зря, не случайно он так старательно и подробно записал это сказание. Да, манкурт, манкурт... Что же тут сокрыто, если иносказательное, то что именно? И главное, как собирался Куттыбаев использовать историю манкурта в своих подстрекательных целях, в какой форме, каким образом? Очень смутно угадывая в легенде о манкурте нечто идеологически подозрительное, Тансыкбаев, однако, еще не мог это категорически утверждать, не было полной уверенности, чтобы уличить наверняка. Вот если бы назвать эту легенду, как полагается в таких случаях, антинародной и за это привлечь к ответственности, но как? Здесь Тансыкбаеву не хватало компетентности, это он понимал. Надо бы обратиться к какому-нибудь ученому.Ведь вот с разоблачением буржуазных националистов, которое они сегодня обмывали, так все и было - обнаружили группировку, затем одни знатоки ученые были выпущены на других с обвинениями в национализме, в воспевании прошлого в ущерб сталинской социалистической эпохе, и этого оказалось достаточно, чтобы мельница заработала круглыми сутками. И все-таки что-то да таилось в том, как тщательно Куттыбаев записывал историю манкурта. Требовалось еще раз внимательно вчитаться в каждое слово, и если обнаружится хотя бы малейшая зацепка, то и запись легенды использовать, приобщить к делу, вменить в вину.

Кроме того, среди бумаг Куттыбаева обнаружен текст еще одной легенды, под названием "Сарозекская казнь",- из времен Чингисхана. Тансыкбаев не сразу обратил внимание на эту стародавнюю историю и только теперь призадумался. Ведь в ней, если поразмыслить, вроде бы можно усмотреть некий политический намек.

* * *

Идя походом на завоевание Запада, ведя за собой через великие азиатские пространства народ-армию, Чингисхан в сарозекских степях учинил казнь - предал повешению воина-сотника и молодую женщину-золотошвейку, вышивальщицу триумфальных шелковых знамен с огнедышащими драконами на полотнищах...

К тому времени большая часть Азии была уже под пятой Чингисхана, поделена на улусы между его сыновьями, внуками и полководцами. Теперь на очереди стояла участь краев за Итилем (Волгой), участь Европы.

В сарозекских степях была уже осень. После дружных дождей пополнились водой пересохшие за лето озерца и реки - значит будет чем поить коней в пути. Степная армада поспешала. Переход через сарозекские степи считался наиболее трудной частью похода.

Три армии - три тумена по десять тысяч воинов - двигались впереди, широко развернув фланги. О мощи туменов можно было судить по их поступи - по зависшей на многие версты по горизонту, как дым после степного пожара, пыли из-под копыт. Еще два тумена с запасными табунами, обозами и яловыми стадами на каждодневный убой следовали позади - в этом можно было убедиться, оглянувшись, - там тоже вилась пыль в полнеба. Были еще и другие

боевые силы, которые нельзя было увидеть из-за их удаленности от этих мест. К ним надо было скакать несколько дней - то были правые и левые крылья, по три тумена в каждом крыле. Те войска двигались самостоятельно в сторону Итиля. К началу холодов предполагалась на берегу Итиля встреча в ханской ставке командующих всех одиннадцати туменов с тем, чтобы согласовать дальнейшие действия и двинуться по льду через Итиль в богатые и славные страны, о покорении которых грезил Чингисхан, грезили его полководцы и каждый всадник...

Так двигались войска в походе, не отвлекаясь, не задерживаясь, не теряя времени. И с ними в обозах были женщины, и в этом заключалась беда.

Сам Чингисхан с полутысячью стражников - кезегулов и свитой - жасаулами, сопровождавшими его в пути, находился в середине того движения, как плывущий остров. Но ехал он особняком - впереди них. Не любил Повелитель Четырех Сторон Света многолюдья возле себя, тем более в походе, когда следует больше молчать, смотреть вперед и думать о делах.

Под ним был любимый иноходец Хуба, прошедший у хана под седлом, быть может, полсвета, сбитый и гладкий, как галечный камень, могучий в груди и холке, белогривый и чернохвостый, с ровным, шелковым ходом. Два запасных коня, не менее выносливых и ходких, шли налегке в сияющей отделкой ханской сбруе, ведомые верховыми коноводами. Хан менял коней на ходу, как только лошадь начинала припотевать.

Но самым примечательным было не окружение Чингисхана, - бесстрашные кезегулы и жасаулы, жизнь которых принадлежала Чингисхану больше, чем им самим, на то они и

отбирались, как лезвия клинков, один из ста, - и не их отменные верховые кони, редкостные, как самородки золота в природе. Нет, примечательным в том походе было совсем другое. Над головой Чингисхана всю дорогу, заслоняя его от солнца, плыло облако. Куда он - туда и облако. Белая тучка, величиной с большую юрту, следовала за ним, точно живое существо. И никому невдомек было - мало ли тучек в вышине, - что то есть знамение - так являло Небо свое благословение Повелителю Миров. Однако сам он, Чингисхан, зная об этом, исподволь наблюдал за тем облаком и все больше убеждался, что это действительно знак воли Неба-Тенгри.

Появление облака было предсказано неким странствующим прорицателем, которому Чингисхан однажды дозволил приблизиться к себе. Тот чужеземец не пал ниц, не льстил, не пророчествовал в угоду. Он стоял перед грозным ликом степного завоевателя, восседавшего на троне в золотой юрте, с достойно поднятой головой, тощий, оборванный, с диковинно длинными волосами до плеч, точно женщина с распущенными кудрями. Чужеземец был строг взглядом, внушительно бородат, смугл и сух чертами лица.

- Я пришел к тебе, великий хаган, сказать, - передал он через толмача-уйгура, - что волею Верховного Неба будет тебе особый знак с высоты.

Чингисхан на мгновение замер от неожиданности. Пришелец то ли не в своем уме, то ли не понимает, чем это для него может кончиться.

- Какой знак, и откуда тебе это известно? - едва сдерживая раздражение, хмуря лоб, поинтересовался всесильнейший.

- Откуда известно - не подлежит оглашению. А что касается знака, то скажу - над головой

твоей будет являться облако и следовать за тобой.

- Облако?! - не скрывая изумления, воскликнул Чингисхан, резко вскидывая брови. И все вокруг невольно напряглись в ожидании взрыва ханского гнева. Губы толмача побелели от страха. Кара могла коснуться и его.

- Да, облако, - ответил прорицатель. - Оно будет перстом Верховного Неба, благословляющего твое высочайшее положение на земле. Но тебе надлежит беречь это облако, ибо, утратив его, ты утратишь свою могучую силу...

В золотой юрте наступила глухая пауза. Всего можно было ожидать от Чингисхана в тот миг, но вдруг ярость его взгляда приугасла, как догорающий в костре огонь. Преодолевая дикий порыв к расправе, он понял, что не следует воспринимать слова бродячего вещуна как вызывающую дерзость и тем более карать его, что тем самым он уронит свою ханскую честь. И Чингисхан сказал, пряча в жидких рыжеватых усах коварную улыбку:

- Допустим, Верховное Небо внушило тебе высказать эти слова. Допустим, я поверил. Но скажи мне, мудрейший чужеземец, как же я буду оберегать вольное облако в небе? Уж не погонщиков ли на крылатых конях послать туда, чтобы они стерегли то облако? Уж не взнуздать ли им его на всякий случай, как необъезженного коня?! Как мне уберечь небесное облако, гонимое ветром?

- А это уж твоя забота, - коротко ответил пришелец.

И опять все замерли, опять воцарилась мертвая тишина, и опять побелели губы толмача, и никто из находившихся в золотой юрте не посмел поднять глаза на несчастного прорица-

теля, обрекшего себя, то ли по глупости, то ли непонятно зачем, на верную гибель.

-Одарите его, и пусть идет, - глухо проронил Чингисхан, и слова его упали на души, как капли дождя на иссохшую землю.

Странный, нелепый случай этот вскоре забылся. И то правда, каких только чудков не бывает на свете. Возомнил себя вещуном! Но сказать, что тот чужеземец просто из легкомыслия рисковал головой, было бы несправедливо. Ведь не мог он не понимать, на что идет. Что стоило ханским кезегулам тут же скрутить его и привязать к хвосту дикой лошади - предать за непочтительность и наглость позорной смерти. И однако же что-то сподвигнуло, что-то вдохновило того отчаянного пришельца, не дрогнув, предстать, как перед львом в пустыне, перед самым грозным и беспощадным властелином. Был ли то поступок безумца или это был действительно промысел Неба?

И когда уже все забылось в беге дней проходящих, незадачливый предсказатель вдруг припомнился Чингисхану - ровно через два года.

Целых два года ушло в империи на подготовку к Западному походу. Позднее Чингисхан убедился в том, что на его власть обретающем пути неудержимого расширения пределов империи эти два года были самым деятельным периодом сбора сил и средств к мировому прорыву, к вожделенной цели его, к захвату тех земель и краев, овладев которыми, он мог по праву считать себя Властелином всех Четырех Сторон Света, всех дальних пределов мира, куда только способна была докатиться волна его несокрушимой конницы. К этой параноической идее, к неотвратимой жажде всевладычества и всемогущества сводилась в итоге жесточайшая

суть степного властелина, его историческое предназначение. И потому вся жизнь его империи - всех подвластных улусов на огромных азиатских просторах, всего разноплеменного населения, усмирившегося под единой твердой рукой, всех имущих и обездоленных во всех городах и кочевьях и в конечном счете каждого человека, кем бы он ни был и чем бы он ни занимался, была целиком подчинена этой ненасытной вовеки, дьявольской страсти - все новых и новых завоеваний, все новых и новых покорений земель и народов. И потому поголовно все были заняты единым служением, все подчинялись единому замыслу - наращивания, накопления, совершенствования военной силы Чингисхана. И все, что можно было добыть из недр и изготовить для вооружения, вся живая, созидающая деятельность обращались на потребу нашествия, могучего рывка Чингисхана в Европу, к ее сказочно богатейшим городам, где каждого воина ждала обильная добыча, к ее густо-зеленым лесам и лугам с травостоем по брюхо лошади, где кумыс потечет рекой; отрада власти над миром коснется каждого, кто пойдет в поход под изрыгающими пламя драконовыми знаменами Чингисхана, и каждый усладится победой, как женщиной, заключающей в лоне своем высшую сладость. Идти, побеждать и покорять земли повелевал великий хаган, и тому предстояло быть...

Чингисхан был в высшей степени человеком дела, расчетливым и прозорливым. Готовясь к вторжению в Европу, он прикинул, предусмотрел все до мелочей. Через верных лазутчиков и перебежчиков, через купцов и пилигримов, через странствующих дервишей, через деловых китайцев, уйгуров, арабов и персов выведал все, что следовало знать для продвижения

огромных воинских масс, - все наиболее удобные пути и переправы. Им были учтены нравы и обычаи, религии и занятия жителей тех мест, куда двигались его войска. Писать он не умел, и все это приходилось держать в уме, соотнося пользу и вред всего, что ждало его в походе. Только так могла быть достигнута слаженность в деле, и, самое главное, неукоснительная, железная дисциплина, только так можно было рассчитывать на успех. Чингисхан не допускал никаких послаблений - никто и ничто не должны были быть помехой главной его цели - завоеванию Европы.

Именно тогда, продумывая свою стратегию, Чингисхан пришел к беспрецедентному в веках повелению - запрету деторождения в народе-армии. Дело в том, что жены и малые дети боевых конников обычно следовали за войском в семейных обозах, кочуя с армией с места на место. Традиция эта существовала издавна, диктовалась она жизненной необходимостью, ибо в нескончаемых междоусобицах враги нередко мстили друг другу, истребляя жен и детей, оставшихся на местах без защиты. Причем беременных женщин убивали в первую очередь, чтобы подсечь корень рода. Но жизнь со временем менялась. Прежде постоянно враждовавшие племена при Чингисхане все больше примирялись и объединялись под единым куполом великого государства.

В молодости, когда Чингисхан еще именовался Темучином, он немало повоевал с соседними племенами, и сам лютовал, и настрадался, и любимая жена его Бортэ была похищена при набеге меркитов и побывала в наложницах. Возымев власть, Чингисхан стал пресекать междоусобицы со всей беспощадностью. Распри

мешали ему править, подрывали силы государства.

Шли годы, и постепенно надобность в старой форме обозно-семейной жизни отпадала. Но самое главное - семья в обозе становилась бременем для армии, помехой мобильности в военных операциях широкого масштаба, особенно в наступлении и на переправах через водные препятствия. Отсюда и высочайшее указание степного властелина - категорически запретить женщинам, следующим в обозах за войском, рожать детей до победоносного завершения Западного похода. Это повеление сделано им было за полтора года до выступления. Он сказал тогда:

- Покорим западные страны, остановим коней, сойдем со стремян - и пусть тогда обозные женщины рожают, сколько хотят. А до этого мои уши не должны слышать вестей о родах в туменах...

Даже законы естества отвергал Чингисхан ради военных побед, кощунствуя над самой жизнью и над Богом. Он хотел и Бога поставить себе на службу, ибо зачатие есть весть от Бога.

И никто ни в народе, ни в армии не воспротивился и даже не помыслил воспротивиться насилию; к тому времени власть Чингисхана достигла такой невиданной силы и средоточия, что все беспрекословно подчинились неслыханному повелению на запрет деторождения, поскольку ослушание неизбежно каралось смертью...

Вот уже семнадцатый день, как Чингисхан, находясь в пути, в походе на Запад, испытывал особое, небывалое состояние духа. Внешне великий хаган держался, как и всегда, как по-

добало его особе, - строго, отчужденно, подобно соколу в часы покоя. Но в душе он ликовал, пел песни и сочинял стихи:

...Облачной ночью,
Юрту мою прикрытым дымником
Окружив, лежала стража моя
И усыпляла меня в дворцовой юрте моей.
Сегодня в пути хочу сказать благодарность:
Старейшая ночная стража моя
На ханский престол меня возвела!
В снежную бурю и мелкий дождь,
Пронизывающий до дрожи,
В проливной дождь и просто дождь
Вокруг походной юрты моей
Стояла, меня не тревожа,
И сердце мое успокаивала стража моя!
Сегодня в пути хочу сказать благодарность:
Крепкая ночная стража моя -
На престол меня возвела!..
Среди врагов, учинивших смуту,
Колчана из березовой коры
Еле слышный шорох услышав,
Без промедления бросалась бороться.
Бдительной ночной страже моей
Сегодня в пути хочу сказать благодарность:
Загривки люто вздыбив при луне,
Верная стая волков
Вожака обступает, выходя на охоту.
Так в набеге на Запад со мной
Неразлучна сивогривая стая моя.
Белые клыки моего трона всюду со мной...
Благодарность пою им в дороге...

Стихи эти, прозвучи они вслух, были бы неуместны в устах Чингисхана - ему ли было заниматься душеизлияниями! Но в пути, находясь с утра и до вечера в седле, он мог позволить себе и такую роскошь.

Главной причиной его душевного торжества было то, что вот уже семнадцатый день, с утра и до вечера, над головой Чингисхана плыло в небе белое облако - куда он, туда и оно. Сбылось-таки вещее предсказание прорицателя. Кто бы мог подумать! А ведь что стоило умертвить того чудака в тот же час за вызывающую непочтительность и дерзость, недопустимую даже в мыслях. Но странник не был убит. Значит, такова воля судьбы.

В первый же день выхода в поход, когда все тумены, обозы и стада двинулись на Запад, заполнив все пространство, подобно черным рекам в половодье, меняя в полдень на ходу притомившегося коня, Чингисхан случайно глянул ввысь, но не придал никакого значения небольшой белой тучке, медленно плывущей, а возможно, и замершей на месте как раз над его головой, - мало ли тучек слоняется по миру.

Он продолжал путь, сопровождаемый державшимися чуть поодаль кезегулами и жасаулами, занятый своими мыслями, озабоченно обозревая с седла округу, вглядываясь в движение многотысячного войска, послушно и рьяно идущего на покорение мира, настолько послушного его личной воле и настолько рьяного в исполнении его помыслов, как если бы то были не люди, среди которых каждый в душе желал быть таким же властным, как он, а пальцы его собственной руки, перебирающие поводья коня.

Вновь взглянув на небо и обнаружив то же самое облако над собой, Чингисхан опять не подумал ничего особенного. Нет, не подумал он, одержимый идеей мировых завоеваний, почему облако следует поверху в том же направлении,

что и всадник внизу. Да и какая связь могла существовать между ними?

И никому из идущих в походе облако не бросилось в глаза, никому не было до него дела, никто и не предполагал, что средь бела дня свершилось чудо. Зачем было шарить взором в необозримой выси, когда требовалось глядеть под ноги. Войско шло себе, тянулось в походе, продвигаясь темной массой по дорогам, низинам и взгорьям, вздымая пыль из-под копыт и колес, оставляя позади пройденные расстояния, быть может, навсегда и необратимо. И все это с готовностью совершалось в угоду ханской мании и воле, и десятки тысяч людей с готовностью шли, гонимые и вдохновляемые им, жаждущим приращения славы, власти, земель.

Так они шли, и уже близился вечер. Предстояло разместиться на ночь там, где застигнет тьма, и с утра снова двинуться в путь.

Для ночлега хана и его свиты обслуживающие их чербии заблаговременно соорудили дворцовые юрты. Они уже виднелись далеко впереди белыми куполами. Ханское знамя - черное полотнище с ярко-красной каймой и огненным, шитым шелком и золотыми нитями драконом, изрыгающим пламя из пасти, - уже развевалось на ветру возле главной дворцовой юрты. Не спуская глаз с дороги, кезегулы - отборные и мрачные силачи - стояли наготове в ожидании повелителя. Здесь предстояла общая вечерняя трапеза, здесь же после еды Чингисхан собирался провести первую встречу с войсковыми нойонами, чтобы обсудить результаты первого дня похода и планы на следующий. Успех начала великого движения настраивал Чингисхана на общительный лад - он не прочь был устроить в тот вечер пир для нойонов, послушать их речи и самому высказать повеле-

ния и то, что он соизволит изречь, когда все и каждый станут сгустком внимания, будто сгустившееся цельное молоко, будет сказано для всех Четырех Сторон Света, скоро все Стороны Света будут покорно внимать его слову, для этого он и ведет войска - для утверждения слова своего. А слово - это вечная сила.

Но пиршество Чингисхан затем отменил. Смятение души потребовало полного уединения. И вот почему...

Приближаясь к месту привала, Чингисхан снова обратил внимание на знакомое облако над головой - уже в третий раз. И тут только сердце его екнуло. Пораженный невероятной догадкой, он похолодел, и земля поплыла у него перед глазами - он едва успел схватиться за гриву коня. Такого с ним никогда не случалось, ибо ничто из сущего на темногрудой Земле Этуген, незыблемой основе мира, дарованной Небом для житья и владычества, не могло ошеломить его настолько, чтобы он ахнул от неожиданности; казалось, все было изведано, ничто на свете не могло уже поразить его жестокий ум, восхитить или опечалить его заматеревшую в кровавых делах душу; никогда не случалось, чтобы он, уронив свое ханское достоинство, испуганно вцеплялся в гриву коня, как какая-то баба. Такого не могло и не должно было быть, поскольку давно уже, можно сказать, с ранних лет, с тех пор, как он пристрелил из лука своего единокровного братца отрока Бектера, повздорив с ним из-за выловленной рыбешки, а на самом деле уловив рано проснувшимся волчьим чутьем, что им в одном седле судьбы не усидеть, - с тех пор убедился он, постигнув устроение жизни самым верным, безошибочным способом - попранием силой, что нет и не может быть ничего такого, что не покорилось бы силе, что

не пало бы на колени, не померкло бы, не сокрушилось бы в прах под напором грубой мощи, будь то камень, огонь, вода, дерево, зверь или птица, не говоря уж о грешном человеке. Когда сила силу ломит, удивительное становится ничтожным, а прекрасное - жалким. Отсюда устоялся вывод: все, что попирается, то ничтожно, а все, что простирается ниц, - заслуживает снисхождения в меру прихоти снисходящего. И на том мир стоит...

Но совсем иное дело, когда речь о Небе, олицетворяющем Вечность и Бесконечность, о которых толкуют подчас гималайские странники, бродячие книжники. Да, лишь Оно, непостижимое Небо, было ему неподвластно, неуловимо и недоступно. Перед Небом-Тенгри он и сам был никем - ни восстать, ни устрашить, ни двинуться походом. И оставалось только молиться и поклоняться Небу-Тенгри, ведающему земными судьбами и, как утверждали гималайские книжники, движением миров. А потому, как и всякий смертный, в искренних заверениях и жертвоприношениях умолял он Небо благоволить к нему и покровительствовать ему, помочь твердо владеть людским миром, и, если таких подлунных миров, как утверждают бродячие мудрецы, великие множества во Вселенной, то что стоит Небу отдать земной мир ему, Чингисхану, в полное и безраздельное господство, во владение его роду из колена в колено, ибо есть ли на свете более могущественный и достойный среди людей, нежели он; нет такого, кто превосходил бы его в силе, чтобы править всеми Четырьмя Сторонами Света. В тайных помыслах своих он все больше верил, что имеет особое право просить у Верховного Неба того, чего никто не осмеливался просить, - безграничного владычества над народами, - ведь должен кто-то один

быть правителем, так пусть будет тот, кто сумеет покорить силой других. В своей безграничной милости Небо не чинило ему помех в его завоеваниях, в приращении господства, и, чем дальше, тем больше укреплялся он в уверенности, что у Неба он на особом счету, что верховные силы Неба, неведомые людям, на его стороне. Все ему сходило с рук, а ведь какие только яростные проклятия не призывались на его голову из уст вопиющих во всех краях, где прошелся он огнем и мечом, но ни одно из этих жалких проклятий никак не сказалось на его все возрастающем величии и всеустрашающей славе. Наоборот, чем больше его проклинали, тем больше пренебрегал он стонами и жалобами, обращенными к Небесам. И однако же бывали случаи, когда нет-нет, да и закрадывались в душу тяжкие сомнения и опасения, как бы не прогневить Небо, как бы не навлечь на себя небесные кары. И тогда великий хан замирал на некоторое время, подавлял себя в себе, давал подданным слегка передохнуть и готов был принять справедливый укор Неба и даже покаяться. Но Небо не гневалось, ничем не проявляло своего недовольства и не лишало его своей безграничной милости. И он, как в азартной игре, все больше шел на риск, на вызов тому, что считалось небесной справедливостью, испытывал терпение Неба. И Небо терпело! И из этого он делал вывод, что ему все дозволено. И с годами укреплялся в уверенности, что он и есть избранник Неба, что он и есть Сын Неба.

И не потому уверовал он в то, во что уверовать можно лишь в сказках, что на великих празднествах певцы верховые, разъезжая перед толпами, слагали песни, именуя его Небом Рожденным, и тысячи рук, ликуя, воздевались к Небу при этом - то была низкая

людская лесть. А заключал он из собственного опыта - Божественное Небо покровительствует ему во всех делах потому, что он отвечает помыслам самого Неба-Тенгри, иначе говоря, он - проводник воли Верховного Неба на земле. А Небо, как и он, признает только силу, только проявления силы, только носителя силы, коим он себя и почитал...

Иначе чем было бы объяснить то, что порой дивило и его самого - стремительное восхождение, подобное взмывающему соколу, к высотам грозной и головокружительной славы, к повелительству миром мальчишки-сироты из обедневшего рода мелких аратов-киятов, что жили испокон века охотой да скотоводством. Как могло случиться такое небывалое в истории овладение гигантской властью - ведь, в лучшем случае, жизнь могла бы уготовить отчаянному сироте судьбу лихого налетчика-конокрада, кем он и был поначалу. Гадать не приходилось - без промысла Неба-Тенгри однолошадного Темучина никогда не осенило бы знамя с золотыми, огнеизрыгающими драконами, и никогда бы не именоваться ему Чингисханом и не восседать под куполом Золотой юрты !..

И вот подтверждение тому, что все именно так, вот явилось неопровержимое свидетельство, наглядное доказательство Небесного благорасположения к хагану Азии! Вот оно перед взором, чудесное облако, заведомо предсказанное бродячим прорицателем, который чуть было не поплатился головой за свое юродство. Но слова его сбылись! Белое облако - послание Неба Небесному Сыну, знак одобрения и благословения, провозвестник великих грядущих побед.

Никому из многих тысяч людей в походе не приходило в голову, что может быть такое чудо,

и никто не замечал попутного белого облака, никому не приходило в голову, откуда оно и зачем оно. Разве кто следит за вольными облаками?.. И лишь он, великий хаган, возглавляющий степную армаду и ведущий ее на новое покорение мира, понял великий смысл появления белого облачка и был поражен невероятной догадкой, и то верил, то не верил в возможность такого неслыханного явления. Им овладевали тягостные сомнения - стоит делиться своими наблюдениями и мыслями или не стоит. А что если он раскроется, поделится тайной, а облако возьмет да исчезнет в мгновение ока? Не подумают ли люди, что он выжил из ума?

Потом он снова укреплялся духом и верил, что это облако не праздное, что оно не исчезнет вдруг, что оно ниспослано Небом как знак, и тогда его охватывала радость, ощущение могучей окрыленности, веры в свою прозорливость, в безошибочность предпринятого им похода на завоевание Запада, и он еще больше утверждался в намерении мечом и огнем создать вожделенную мировую империю. С чем и шел. То и было извечной страстью ненасытного владычества. Чем больше имел, тем больше хотелось...

И потекли дни похода.

А белое облако в вышине, никуда не отклоняясь, плавно плыло перед взором Чингисхана, восседавшего на своем знаменитом иноходце Хубе. Грива белая, а хвост черный, таким уродился.

Знатоки утверждали, что такой конь появляется под особой звездой один раз в тысячу лет. То был поистине непревзойденный ходок, не скакун, а неутомимый ходок. Хуба шел иноходью, в постоянно напряженном темпе, как

зарядивший ливень, проливаясь на землю горячим дыханием. Не будь удил, такой конь готов иссякнуть в горячем усердии, иссякнуть до капли, как пролившийся дождь. В старину один певец сказал: на таком коне человеку верится, что он бессмертен...

Доволен, счастлив был Чингисхан. Ощущая в себе небывалый прилив сил, он жаждал действовать, мчаться к цели, точно сам был неутомимым иноходцем, точно сам стелился в размеренном неиссякаемом беге, точно слился, как сливаются реки, телом и духом с бушующим круговоротом крови бегущего коня.

Да, седок и конь были под стать друг другу, - сила с силой перекликались. И оттого посадка седока походила на соколиную позу. Ступни плотно сидящего в седле коренастого, бронзолицего всадника упирались в стремена вызывающе горделиво и уверенно. Он сидел на коне, как на троне, прямо, с высоко поднятой головой, с печатью каменного спокойствия на скуластом узкоглазом лице. От него исходила сила и воля великого владыки, ведущего несметное войско к славе и победам...

И особой причиной вдохновенного состояния Чингисхана было белое облако над его головой как символ, как венец великой предназначенности. И все в этом смысле соотносилось одно с другим. Облако... Небо... Впереди же по ходу движения развевалось в руках знаменосца походное знамя, которое было всегда там, где находился Чингисхан. Их было трое при знамени, трое знаменосцев, внушительных и гордых доверенным им исключительно почетным делом. Все трое как на подбор - на одинаковых вороных конях. В середине - держащий древко, а по сторонам с пиками наперевес - его сопровождающие. Осеняя путь хагана, шитое шелком и

золотом черное полотнище трепетало на ветру, и вышитый на нем дракон, исторгавший яркое пламя из пасти, казался живым. Дракон был в летучем прыжке, и глаза его, всевидящие во гневе, выпученные, как у верблюда, метались вместе с полотнищем по сторонам, точно и в самом деле живые...

С раннего утра неутомимый хаган с седла руководил походом. К нему с разных сторон скакали нойоны с донесениями и, получив указания на ходу, возвращались от него галопом на свои места в движущемся войске. Надо было поспешать, чтобы до предзимних дождей и распутицы достигнуть главного препятствия в походе - берегов великой реки Итиль - с тем, чтобы, дождавшись холодов, переправиться по ледяной тверди и двинуться дальше к заветной цели, к покорению Запада.

До позднего вечера длился поход. Предсумеречная степь простиралась в пологих лучах заходящего солнца так далеко, как только можно было представить себе обширность зримого мира. И в том озаренном пространстве, окрашенном рдеющим солнцем, уже наполовину ушедшим за горизонт, двигались на закате колонны, тысячи конников, каждое войско в своих пределах, и все уходили в сторону заходящего солнца, напоминая издали течение черных рек, затуманенных мглой.

Натруженные спины коней отдыхали от седел и всадников лишь по ночам, когда войско останавливалось на ночлег.

Но рано утром на привалах снова гремели добулбасы - огромные барабаны из воловьих кож, понуждая армию к возобновлению похода. Всколыхнуть ото сна десятки тысяч людей не так просто. И побудчики усердствовали - несмолкаемый грохот добулбасов разносился ок-



рест тяжким рокотом по всем лагерям и стоянкам.

К тому часу хаган уже бодрствовал. Он просыпался едва ли не первым и, прохаживаясь возле дворцовой юрты светлыми еще осенними утрами, сосредоточивался в себе, обдумывал мысли, набежавшие за ночь, отдавал указания и между делом внимательно вслушивался в гул барабанов, поднимающих войско в седла и на колеса. Начинался очередной день, умножались голоса, движения, звуки, заново начинался прерванный на ночь поход.

И гремели барабаны. Их утренний гул был не только сигналом к подъему, но заключал в себе и нечто большее. Так понукал Чингисхан каждого, кто шел вместе с ним в великом походе, - то было напоминанием взыскующего и непреклонного повелителя, врывающегося грохотом барабанов, точно в закрытые двери, в сознание просыпающихся, опережая тем самым какие бы то ни было иные мысли, нежели те, что исходили от него, навязывались им, его волей, ибо во сне люди не подвластны ни чужой, ни собственной воле, ибо сон - дурная, зряшная, опасная свобода, прерывать которую необходимо с первых мгновений возврата ото сна, вторгаться решительно и грубо, чтобы вернуть их, очнувшихся, снова в явь - к служению, к беспрекословному подчинению, к действиям.

Похожий на бычий рык тяжкий гул барабанов всякий раз вызывал в Чингисхане холодок, связанный с давним воспоминанием: в отрочестве, когда поблизости от него ярились два сцепившихся быка, дико мыча, вскидывая копытами щебень и пыль, он, завороженный их ревом, сам не помнит, как схватил боевой лук и пронзил стрелой задремавшего единокровного братца Бектера, поссорившегося с ним из-за

рыбки, выловленной в реке. Бехтер дико вскричал, вскочил и снова повалился наземь, обливаясь кровью, а он, Темучин, да, тогда он был всего лишь Темучином, сиротой рано умершего Есугай-баатура, в испуге побежал на гору, взвалив на плечи добулбас, лежавший возле юрты. Там, на горе, он стал бить в барабан, долго и монотонно, а мать его, Аголен, кричала и выла внизу, рвала на себе волосы, проклиная братоубийцу. Потом сбежались другие люди, и все что-то кричали ему, размахивая руками, но он ничего не слышал, упорно колотя в барабан. И никто к нему не подступился почему-то. Он просидел на горе до рассвета, колотя в добулбас...

Мощный гул сотен добулбасов теперь был его боевым кличем, его яростным рыком, его неустрашимостью и свирепостью, его сигналом ко всем, идущим с ним в походе, - внимать, подниматься, действовать, двигаться к цели, к покорению мира. И они пойдут за ним до предела - есть же где-то предел горизонту, и все, что существует на земле, - все люди и твари, обладающие слухом, будут внимать его боевым барабанам, внутренне содрогаясь. И даже тучка белая, с недавних пор неразлучная свидетельница его скрытых дум, не уклоняясь плавно кружит над головой под утренний бой барабанов. Порывистый ветерок шелестит имперским знаменем с расшитым, похожим на живого, огнедышащим драконом. Вот дракон бежит на ветру по полотнищу, изрыгая яркое пламя из пасти...

Хорошие утра выдавались в эти дни.

И по ночам, на сон грядущий, выходил Чингисхан глянуть на округу. Всюду в пустынных просторах горели костры, полыхая вблизи и мерцая вдали. По боевым лагерям и обозным

таборам, на стоянках погонщиков табунов и стад стелились белесые дымы, люди в тот час, употевая, глотали похлебку и наедались вдосталь мяса. Запах мясной варенины, извлекаемой огромными кусками из котлов, привлекал голодное степное зверье. То там, то тут поблескивали во тьме лихорадочные глаза и доносилось до слуха заунывное подвывание несчастных тварей.

Армия между тем быстро впадала в мертвецкий сон. Лишь оклики ночных дозоров, объезжавших войско на привале, свидетельствовали, что и ночью жизнь шла по строго заведенному порядку. Так и полагалось быть тому - всему свое предназначение, обращенное в конечном счете к единой и высшей цели - неукоснительному и безраздельному служению миродержавной идее Чингисхана. В такие минуты, пьянея душой, он постигал собственную суть - суть сверхчеловека - неистребимую, одержимую жажду власти, тем большую, чем большей властью он владел, и отсюда вытекал с неизбежностью абсолютный вывод - потребно лишь то, что соответствовало его власть прибавляющей цели, а то, что не отвечало ей, - не имело права на бытие.

Поэтому и свершилась сарозекская казнь, предание о которой спустя многие времена записал Абуталип Куттыбаев на беду свою...

В одну из ночей на привале конный дозор объезжал расположение войск правого тумена. За пределами боевых лагерей находились стоянки обозов, погонщиков стад и разного рода подсобных служб. Дозор заглянул и в эти места. Все было в порядке. Истомленные переходом, люди спали всюду вповалку - в юртах, в

шатрах, а многие под открытым небом у догорающих костров. Тихо было вокруг, и все юрты темны. Конный дозор уже завершал свой досмотр. Их было трое - дозорных. Придерживая коней, они о чем-то говорили между собой. Тот, кто был за старшего, - рослый всадник в шапке сотника - негромко распорядился:

- Ну, все. Вы езжайте, подремлите. А я погляжу еще тут.

Двое верховых удалились. А тот, что остался, тот сотник, сначала внимательно огляделся вокруг, прислушался, потом слез с коня и, ведя его в поводу, пошел мимо скопления обозов и походных мастерских, мимо распряженных повозок шорников, швей и оружейников в сторону одинокой юрты на самой обочине табора. И пока он шел, задумчиво склонив голову и прислушиваясь к звукам, лунный свет, льющийся с выси, смутно высветлял очертания его крупного лица и туманно поблескивающие большие глаза коня, послушно следовавшего за ним.

Сотник Эрдене приближался к юрте, где, должно быть, его ждали. Из юрты вышла женщина в накинутом платке и остановилась, ожидая, возле входа.

- Самбайну *, - приглушая голос, поприветствовал он женщину. - Ну, как дела? - спросил он с беспокойством.

- Все в порядке, все хорошо обошлось, хвала Небу. Теперь уж не тревожься, - зашептала женщина. - Она тебя очень ждет. Слышишь, очень ждет.

- Да я и сам рвался душой! - ответил сотник Эрдене. - Но, как назло, нойон наш решил пересчетом коней заняться. Все три дня никак не мог вырваться, в табунах пропадал.

- Ой, да ты не мучься, Эрдене. Чтобы ты тут

* Самбайну - здравствуй (монг).

делал, когда такое случилось? Зачем бы тут на глаза попадался? - Женщина успокоительно покачала головой и добавила: - Самое главное - что благополучно, так легко разродилась. Ни разу даже не вскрикнула, вытерпела. А утром я ее в крытую повозку устроила. И как ни в чем ие бывало. Такая оиа у тебя славная. Ой, что же это я! - спохватилась встречавшая. - Сокол, прилетевший к тебе иа руку да будет всегда с тобой! - поздравила она. - Имя придумай сыиочку

- Пусть Небо услышит твои слова, Алтуи! Мы с Догулаиг век будем тебе благодарны, - поблагодарил сотник. - А имя придумаем, за этим дело ие станет.

Ои передал женщине поводья коня.

- Не беспокойся, сколько иадо, столько постерегу, как всегда, - заверила Алтуи. - Иди, иди, Догуланг тебя очень ждет.

Сотник выждал иемного, как бы собираясь с духом, потом подошел к юрте, приоткрыл тяжелый плотный войлочный полог и, пригиувшись, вступил вовиутрь. В середине юрты горел иебольшой очажок, и в его слабом, блеклом отсвете он увидел ее, свою Догуланг, сидящую в глубине жилища, накинув на плечи кунью шубу. Правой рукой она слегка покачивала колыбель, покрытую стеганым одеялом.

- Эрдене! Я здесь, - негромко отозвалась она на появление сотника. - Мы здесь, - улыбаясь и смущаясь, поправилась она.

Сотник быстро отстегнул колчаи, лук, клииок в иожиах, оставил оружие у входа и подошел к женщине, протягивая руки. Он опустился иа колени, и лица их соприкосиулись. Оии обнялись, положив головы на плечи друг другу. И замерли в объятиях. И иа том мир как бы замкнулся для них под куполом юрты. Все,

что оставалось за пределами этого походного жилища, утратило свою реальность. Реальны были только они вдвоем, только то, что их объединяло в порыве, и крохотное существо в колыбели, которое явилось на свет три дня тому назад.

Эрдене первым разомкнул уста:

- Ну, как ты? Как чувствуешь себя? - спросил он, едва сдерживая учащенное дыхание. - Я так беспокоился.

- Теперь уже все позади, - отвечала женщина, улыбаясь в полутьме. - Не об этом думай. О нем спроси, о нашем сыночке. Он такой крепенький оказался. Так сильно сосет мою грудь. Он очень похож на тебя. И Алтун говорит, что очень похож.

- Покажи мне его, Догуланг. Дай взглянуть!

Догуланг отстранилась и прежде, чем приоткрыть одеяло над колыбелью, прислушалась, невольно настораживаясь, к звукам снаружи. Все было тихо вокруг.

Сотник долго смотрел, силясь угадать свои черты в ничего не выражающем пока личике спящего младенца. Вглядываясь в новорожденного, затаив дыхание, он, может быть, впервые постигал божественную суть появления на свет потомства как замысел вечности. Потому, наверное, и сказал, взвешивая каждое слово:

- Вот теперь я всегда буду с тобой, Догуланг, всегда с тобой, даже если что со мной и случится. Потому что у тебя мой сын.

- Ты - со мной? Если бы! - горестно усмехнулась женщина. - Ты хочешь сказать, что малыш - твое второе воплощение, как у Будды. Я об этом подумала, кормя его грудью. Я держала его на руках, ребенка, которого не было еще три дня назад, и говорила себе, что

это ты в новом своем воплощении. И ты об этом подумал сейчас?

- Подумал. Только не совсем так. С Буддой не могу себя сравнивать.

- Можешь не сравнивать. Ты не Будда, ты мой дракон. Я тебя с драконом сравниваю, - ласково прошептала Догуланг. - Я вышиваю на знаменах драконов. Никто не знает - это все ты. На всех знаменах моих - это ты. Бывает, и во сне его вижу, во сне вышиваю дракона, он оживает, и, ты только не смейся, я обнимаю его во сне, и мы соединяемся, и мы летим, дракон меня уносит, и я с ним улетаю, и в самое сладкое мгновение оказывается - это ты. Ты со мной во сне - то дракон, то человек. И, просыпаясь, я не знаю, чему верить. Я ведь тебе, Эрдене, и прежде говорила - ты мой огненный дракон. И я не шутила. Так оно и было. Это я тебя, твое воплощение в драконе, вышиваю на знаменах. И теперь, выходит, я родила от дракона.

- Пусть будет так, как тебе любо. Но, ты послушай, Догуланг, что я тебе хочу сказать. - Сотник помолчал и молвил затем: - Вот теперь, когда у нас родился ребенок, надо думать, как нам быть. И об этом мы сейчас поговорим. Но раньше я хочу сказать, чтобы ты знала, да ты и так знаешь, но все равно скажу: я всегда тосковал и всегда тоскую по тебе. И самое страшное, чего я боюсь, - не голову потерять в бою, а тоску свою потерять, лишиться ее. Я все время думал, уходя с войсками то в одну, то в другую сторону, как отделить от себя свою тоску, чтобы она не погибла вместе со мной, а осталась бы при тебе. И я ничего не мог придумать, но мне мечталось, чтобы тоска моя превратилась или в птицу, или, может быть, в зверя, во что-то такое живое, чтобы я мог



передать тебе это в руки и сказать - вот возьми, это моя тоска, и пусть она будет всегда с тобой. И тогда мне не страшно погибнуть. И теперь я понимаю - мой сын родился от моей тоски по тебе. И теперь он всегда будет с тобой.

- Но мы еще не дали ему имени. Ты придумал ему имя? - спросила женщина.

- Да, - ответил сотник. - Если ты согласишься, назовем его хорошим именем - Кунан!

- Кунан!

- Да.

- А что, очень хорошо. Кунан! Молодой скакун.

- Да, Конь-трехлетка. В самом восходе сил. И грива, как буря, и копыта, как свинец.

Догуланг склонилась над младенцем:

- Послушай, отец твой скажет имя твое!

И сотник Эрдене сказал:

- Имя твое - Кунан. Слышишь, сынок? Имя твое Кунан.

Воистину так.

Они помолчали, невольно поддаваясь значимости момента. Ночь была тиха, лишь в таборе по соседству беззлобно взлаяла собака да донеслось издали протяжное ржание, - быть может, вспомнилась средь ночи коню родина в горах, быстрые реки, густые травы, солнечный свет на спинах коней... Младенец же, обретший имя, безмятежно спал, и судьба его младенческая пока еще спала рядом с ним. Но скоро ей предстояло спохватиться.

- Я подумал не только об имени нашего ребенка, - нарушил молчание сотник Эрдене и, оглаживая усы крепкой ладонью, сказал со вздохом, - я подумал и о другом, Догуланг. Сама понимаешь, тебе с младенцем оставаться здесь нельзя. Надо побыстрей уходить.

-Уходить?

- Да, Догуланг, уходить, и чем быстрее, тем лучше.

- Я тоже думала, но куда уходить и как уходить? А как же ты?

- Сейчас я тебе скажу. Мы уйдем вместе.

- Вместе? Это же невозможно, Эрдене!

- Только вместе. А разве может быть по другому?

- Но ты подумай, что ты говоришь, ты, сотник правого тумена!

- Я уже думал, крепко думал.

- Но куда ты уйдешь от руки хагана, такого места нет на свете! Эрдене, опомнись!

- Я уже все продумал. Выслушай меня спокойнее. Мы не скрылись поначалу, когда еще можно было, когда еще стояли мы в городах многолюдных, с базарами и бродягами. Не зря я тебе говорил в те дни, Догуланг: обрядимся в тряпье чужеземцев, прибьемся к странникам и уйдем скитаться по свету.

- По какому свету, Эрдене? - с горечью воскликнула вышивальщица. - Где для нас такой край, чтобы жить самим по себе? От Бога легче уйти, чем от хагана. Потому мы и не решились, сам понимаешь. Да и кто из войска мог бы решиться на такое. Вот и остались мы с тайной своей между страхом и любовью - ты не мог уйти из войска, тебе это стоило бы головы, я не могла уйти от тебя, мне это стоило бы счастья. И вот мы не одни. С сыночком.

Они тягостно умолкли в нахлынувшей тревоге. И тогда сотник сказал:

- Бывает, люди бегут от позора, от бесчестья, от расплаты за измену: бегут, только бы спастись. Нам придется бежать оттого, что судьба послала нам дитя, но платить придется той же ценой. Ждать пощады не приходится. Хаган от своего повеления никогда не отступит-

ся. Надо уходить, Догуланг, пока не поздно, другого выхода нет . Не качай головой. Другого выхода нет. Счастье и несчастье растут из одного корня. Было счастье, не побоимся теперь беды. Надо уходить.

- Я тебя понимаю, Эрдене, - тихо проговорила женщина. - Ты прав, конечно. Только я вот думаю, что лучше - умереть или остаться жить. Я не о себе. Я с тобой так счастлива, я говорила себе: если надо, умру, только не посмею убить то, что пришло ко мне от тебя. Глупая я или умная, но не поднялась моя рука...

- Не терзайся, не надо, ты не должна так терзаться - жить или не жить! Мы не хотели жертвовать тем, кто еще не народился. Теперь он родился. Теперь надо жить ради него. Убежать и жить. Мы оба хотели сына.

- Я не о себе. Я о другом. Можешь ли ты мне сказать, если меня казнят, - оставят ли в живых тебя и твоего сыночка?

- Не надо так. Не унижай меня, Догуланг. Разве об этом речь. Ты лучше скажи, как ты чувствуешь себя. Сможешь ли ты отправиться в путь? Ты поедешь в повозке с Алтун, она с тобой, она готова. Я буду рядом верхом, чтобы в случае чего отбиваться...

- Как скажешь, - коротко ответила вышивальщица. - Лишь бы с тобой! Быть рядом...

Опустив головы у колыбели, они снова затихли.

- А скажи, - промолвила Догуланг, - говорят, что скоро войско выйдет к берегам Жаика *. Алтун слышала от людей.

- Пожалуй, через два дня, осталось не так много. А к пойменным местам уже завтра подойдем. Предлесья начнутся, кусты да чащи, а там и Жаик.

---

* Жаик, Яик - река Урал

- Что, большая, глубокая река?
- Самая великая, на пути к Итилю.
- И глубокая?
- Не всякий конь сможет переплыть, особенно где стремнина. А по рукавам - там мельче.
- Значит, глубокая, и течение плавное?
- Спокойная, как зеркало, а есть где и побыстрей. Ты же знаешь, детство мое прошло в жаикских степях - отсюда мы родом.

И наши песни все от Жаика. Лунными ночами поются наши песни.

- Я помню, - задумчиво отозвалась вышивальщица. - Ты как-то спел мне песню, до сих пор не могу забыть, песню девушки, разлученной с любимым, она утопилась в Жаике.
- Это старинная песня.

- У меня мечта, Эрдене, хочу сделать такую вышивку на белом шелковом полотне: вода уже сомкнулась, только легкие волны, а вокруг растения, птицы, бабочки, но девушки уже нет, не вынесла она горя. Чтобы, кто увидал эту вышивку, тому печальная песня слышалась над печальной рекой.

- Через день ты увидишь эту реку. Слушай меня внимательно, Догуланг. Ты должна быть готова к завтрашней ночи. Как только я появлюсь с запасным конем, так тут же ты должна выйти с колыбелью, в любой час. Медлить нельзя. Теперь медлить нельзя. Я бы сегодня, сейчас увез бы вас куда глаза глядят. Но кругом степь открытая, нигде не схоронишься, не утаишься, кругом как на ладони, и ночи пошли лунные. А с повозкой по степи от конной погони далеко не ускачешь. Но дальше, к Жаику, начнутся места зарослевые, там все по-иному пойдет...

Они еще долго переговаривались, то умолкая вдруг, то снова принимаясь обсуждать, что им

предстоит в преддверии неведомой судьбы грядущей, теперь уже судьбы на троих, с народившимся младенцем. И малыш не заставил себя ждать, чуть погодя зашевелился, кряхтя, в колыбели и заплакал, попискивая скулящим щенком. Догуланг быстро взяла его на руки и, смущаясь с непривычки, полуотвернувшись, приложила его к груди, столь знакомой сотнику, неисчислимо раз целованной им в горячем порыве, гладкой и белеющей груди, которую он сравнивал про себя с округлой спинкой притаившейся уточки. Теперь все предстало в новом свете материнства. И сотник просиял взором от удивления и восхищения и, подумав о чем-то, покрутил молча головой, - сколько пришлось пережить в последние дни, и вот свершилось то, что и должно было свершиться в отмеренный природой срок: он - отец, Догуланг - мать, у них - сынок, мать кормит дитя молоком... Тому и положено быть изначально. Трава родится от травы, и тому воля природы, твари рождаются от тварей, и тому воля природы, и только прихоть человека может встать поперек естества...

Младенец, чмокая, сосал грудь, младенец насыщался, ублажаемый грудью-уточкой.

- Ой, щекотно, - радостно засмеялась Догуланг. - Вот ведь какой шустрый оказался. Прилип и не оторвешь, - приговаривала она, как бы оправдываясь за свой счастливый смех.

- А правда, он очень похож на тебя, наш Кунан. Наш маленький дракон, сын большого дракона! Вот он открыл глазки! Посмотри, посмотри, Эрдене, и глаза твои, и нос такой же, и губы точь-в-точь...

- Похож, конечно, очень похож, - охотно соглашался сотник. - Узнаю кого-то, очень даже узнаю.



- То есть, как кого-то? - удивлялась Догуланг.

- Ну себя, конечно, себя!

- А вот возьми, подержи его на руках. Такой живой комочек. Легкий такой. Как будто зайчика держишь.

Сотник робко принял дитя - сила и весомость его собственных рук оказались в ту минуту излишними, неуместными, и, не зная, как ему быть, как приспособить свои ладони к беззащитному тельцу младенца, он осторожно прижал, вернее, приблизил его к сердцу и, подыскивая сравнение неизведанному доселе ощущению нежности, счастливо улыбаясь тому, что открылось ему в то мгновение; растроганно сказал:

- Ты знаешь, Догуланг, это не зайчонок, это мое сердце в моих руках.

Малыш вскоре заснул. Сотнику же пора было возвращаться на свое место в войске.

Глубокой ночью, выйдя из юрты возлюбленной, сотник Эрдене взглянул на луну, набравшую над осенними сарозеками сияющую силу свечения, и ощутил полное одиночество. Не хотелось уходить, хотелось снова вернуться к Догуланг, к сыну. Таинственные звенящие звуки бездонной степной ночи заворожили сотника. Нечто непостижимое, зловещее открывалось ему в том, что, будучи вовлеченными судьбой в деяния великого хагана, идя вместе с ним в поход на Запад, служа ему, они же подвергались опасности - в любой момент неотвратимая его кара за рождение ребенка могла сокрушить их. Стало быть, в том, что их связывало с Повелителем Четырех Сторон Света, было нечто противоестественное, отныне несовместимое с их собственной жизнью, взаимоисключа-

ющее, и вывод напрашивался один - уходить, обретать свободу, спасать жизнь ребенка...

Вскоре он разыскал неподалеку прислужницу Алтун, которая все это время стерегла его коня, скармливая ему зерно из походной сумы.

- Ну, что, повидал своего сыночка? - живо заговорила Алтун.

- Да, спасибо, Алтун.

- Имя дал ему?

- Имя его - Кунан!

- Хорошее имя. Кунан.

- Да. Пусть Небо услышит. А теперь, Алтун, скажу тебе то, что надо сказать сейчас, не откладывая. Ты мне как родная сестра, Алтун. А для Догуланг с ее ребенком - ты верная мать, посланная судьбой. Не будь тебя, не смогли бы мы быть с ней вместе в походе, страдать бы нам в разлуке. И кто знает, быть может, мы с Догуланг никогда больше и не увиделись бы. Потому что, кто идет с войной, тот встречает войну вдвойне... И я благодарен тебе...

- Я-то понимаю, - проговорила Алтун. - Понимаю, что к чему. Ведь и ты, Эрдене, пошел на такое дело неслыханное! - Алтун покрутила головой. И добавила: - Дай Бог, чтобы все обошлось. - Я-то понимаю, - продолжала она, - в этом великом войске сегодня ты сотник, а завтра оказался бы тысячником-нойоном, в чести на всю жизнь. И тогда бы мы с тобой не говорили о том, о чем сейчас говорим. Ты - сотник, я раба. И тем все сказано. Но ты выбрал другое - как душа твоя повелела. Моя-то помощь тебе - коня подержать. Приставлена я служить твоей Догуланг, сам знаешь, помогать ей в работе. И я привязана к ней всей душой, потому что она, так мне думается, - дочь бога красоты. Да, да! Она и собой хороша, как же! Но я не об этом. Я о другом. В руках у Догуланг

волшебная сила - клубки нитей и кусок полотна - найдутся у кого угодно, но то, что вышивает Догуланг, никому не повторить. По себе знаю. Драконы у нее бегут по знаменам, как живые. Звезды у нее горят на полотне, как в небе. Говорю же, она мастерица от Бога. И я буду с ней. А если надумали уходить, то и я - с вами. Одной ей не управиться в бегах, ведь только родила.

- Об этом и речь, Алтун. Завтра, ближе к полуночи, надо быть наготове. Будем уходить. Ты с Догуланг и ребенком в повозке, а я сбоку верхом, с запасным конем в поводу. Уйдем в пойму Жаика. Самое главное, к рассвету подальше скрыться, чтобы с утра погоня не напала на след. А там уйдем...

Они помолчали. И перед тем, как сесть в седло, сотник Эрдене, склонив голову, поцеловал сухонькую ладошку прислужницы Алтун, понимая, что она послана им с Догуланг самим провидением, эта маленькая женщина, плененная многие годы тому назад в китайских краях, да так и оставшаяся до старости прислугой в обозах Чингисхана. Кто она была ему, если подумать: случайной спутницей в коловороте чингисхановского похода на Запад. Но, по сути, - единственной и верной опорой влюбленных в роковую для них пору. Сотник понимал: только на нее он мог положиться, на прислужницу Алтун, и больше ни на кого на свете, ни на кого! Среди десятков тысяч вооруженных людей, шедших в великом походе, кидавшихся с грозными кликами в бои, только она одна, старенькая обозная прислужница, могла встать на его сторону. Только она одна, и больше никто. Так оно потом и случилось.

Уезжая в тот поздний час на своем звездолобом Акжулдузе, минуя войска, спящие привалом

в лагерях и обозных таборах, думал сотник о том, что предстоит впереди, и молил Бога о помощи ради новорожденного, безвиннейшего существа, ибо каждый новорожденный - это весть от замысла Бога; по тому замыслу кто-то когда-то предстанет пред людьми, как сам Бог, в людском обличии, и все увидят, каким должен быть человек. А Бог - это Небо, непостижимое и необъятное. И Небу знать, кому какую судьбу определить - кому народиться, кому жить.

Сотник Эрдене пытался оглядеть с седла звездное пространство, пытался мысленно заклинать Небо, пытался услышать в душе ответ судьбы. Но Небо молчало. Луна одиноко царствовала в зените, незримо проливаясь сиреневым потоком света над сарозекской степью, объятою сном и таинством ночи...

А наутро снова загремели, зарокотали утробно добулбасы, повелевая людям вставать, вооружаться, садиться в седла, кидать поклажу в повозки, и снова, воодушевляемая и гонимая неукротимой властью хагана, двинулась степная армада Чингисхана на Запад.

То был семнадцатый день похода. Позади оставалась обширнейшая часть сарозекской степи - наиболее труднопроходимая, впереди предстояли через день-другой припойменные земли Жаика, и дальше путь лежал к великому Итилю, воды которого делили земной мир на две половины - Восток и Запад.

И все было, как и прежде. Впереди на гарцующих вороных двигались знаменосцы. За ними в сопровождении кезегулов и свиты - Чингисхан. Под седлом у него шел размеренным тропом любимый иноходец Хуба с белой гривой и черным хвостом, и, тайно радуя взор, подымая

в сердце хагана и без того с трудом сдерживаемую гордыню, над головой его, как всегда, плыла неразлучная спутница - белая тучка. Куда он - туда и она. А по земле, заполняя пространство от края и до края, двигалась человеческая тьма на Запад - колонны, обозы, армии Чингисхана. Гул стоял, подобно гулу, бушующего вдали моря. И все это множество, вся эта движущаяся лавина людей, коней, обозов, вооружения, имущества, скота были воплощением его, Чингисхана, мощи и силы, все это шло от него, источником всего этого были его замыслы. И думал он в седле в тот час все о том же, о чем редко кто из смертных смеет думать, - о вожделенном мировом владычестве, о единой подлунной державе на вечные времена, коей дано будет ему править и после смерти. Как? Через его повеления, заблаговременно высеченные на скрижалях. И покуда будут стоять скалы с надписями-повелениями, указывающими, как править миром, пребудет на свете и его воля. Вот о чем думал хаган в тот час в пути, и захватывающая мысль о надписях на камнях как способе достижения бессмертия уже не давала ему покоя. Он решил, что займется этим зимой, на берегу Итиля. В ожидании переправы он соберет совет ученых, мудрецов и предсказателей и выскажет свои золотые мысли о вечной державе, выскажет свои повеления, и они будут высечены на скалах. Эти слова перевернут мир, и весь мир припадет к его стопам. С тем он и шел в поход, и все сущее на земле должно было служить этой цели, а все, что противоречило ей, все, что не способствовало успеху похода, подлежало устранению с пути и искоренению.

И снова стали слагаться стихи:

Алмазным навершием державы моей
Водружу сверкающий месяц в небе...Да!..

И муравей на тропе не уклонится
От железных копыт моей армии... Да!..
Переметную суму истории
С потного крупа коня моего
Благодарные потомки снимут,
Постигая цену могущества...Да!..

Случилось так, что именно в этот день, пополудни, доложили Чингисхану о том, что одна из женщин в обозе родила - вопреки строжайшему на то его ханскому запрету. Родила ребенка - неизвестно от кого. Сообщил об этом хептегул Арасан. Краснощекий хептегул, с бегающими глазками, всегда все знающий и неутомимый, и на этот раз первым принес известие. "Мой долг доложить тебе, величайший, все, как есть, поскольку на этот счет сделано тобой предупреждение", - похрипывая - жирок душил его, - заключил свое донесение хептегул Арасан, скача с хаганом стремя в стремя, чтобы лучше были слышны его слова на ветру.

Чингисхан не сразу внял, не сразу ответил хептегулу. Сосредоточенный в тот миг на мыслях о заветных скрижалях, он не сразу поддался нахлынувшей досаде и долго не хотел признаться себе в том, что не ожидал, что подобное известие так подействует на него. Чингисхан молчал оскорбленно, с досады прибавил ходу коню, и полы его легкой собольей шубы разлетались по сторонам, как крылья испуганной птицы. А хептегул Арасан, поспешая рядом, оказался в затруднительном положении, не зная, как ему быть: он то придерживал поводья, чтобы не гневить излишне хагана своим присутствием рядом, то снова шел стремя в стремя, чтобы быть готовым расслышать слова, коли они будут произнесены, и не

понимал, не мог взять в толк причины столь долгого молчания владыки - что стоило тому изречь всего два слова: казнить ее, - и тот же час там, в обозах, задавили бы и эту женщину, и ее выродка, коли она осмелилась родить наперекор высочайшему запрету. Задушили бы дерзкую, закатав в кошму, - другим в назидание, - и делу конец.

Вдруг хаган резко бросил через плечо, да так, что хептегул даже привстал в седле:

- Так почему, пока не разродилась эта обозная сука, никто не заметил, что она брюхата? Или видели, да помалкивали?

Хептегул Арасан подался было объяснить, как это могло произойти, слова его оказались сбивчивы, и хаган властно осек его:

- Помолчи!

Спустя немного времени он желчно спросил:

- Коли она ничейная жена, так кто же она, эта разродившаяся в обозах, - повариха, истопница, скотница?

И был крайне удивлен, что роженицей оказалась вышивальщица знамен, поскольку никогда прежде не приходило ему в голову, что кто-то этим занимается, кто-то кроит и вышивает его золотые стяги, так же, как не думал он о том, что кто-то тачает ему сапоги или сооружает очередные юрты, под куполом которых протекала его жизнь. Не думалось прежде о таких мелочах. Да и с чего бы, разве знамена не существовали сами по себе, рядом с ним и в его войске повсюду, возникая, как загодя разводимые костры, раньше, чем появлялся он сам, на лагерных стоянках, в движущейся коннице, в сражениях и на пирах. Вот и сейчас - впереди гарцевали знаменосцы, осеняя его путь. Он шел походом на Запад с тем, чтобы установить там свои стяги, отшвырнув на истоптание чужие

знамена. Так оно и будет... Ничто и никто не посмеет встать на его пути. И любое, даже малейшее неповиновение кого-либо из идущих с ним на покорение мира будет пресекаться не иначе как смертной карой. Кара ради повиновения - таково неизменное орудие власти одного над многими.

Но в случае с этой вышивальщицей повинна не только она, но и еще кто-то, безусловно, находящийся в обозах или в войске... Но кто он?..

С этого часа Чингисхан омрачился, что было заметно по его окаменевшему лицу, тяжелому взгляду немигающих рысьих глаз и напряженной, как против ветра, посадке в седле. Но никто из осмелившихся приблизиться к нему по неотложным делам не знал, что омрачился хаган не столько потому, что обнаружился вызывающий факт непослушания какой-то вышивальщицы и ее неизвестного возлюбленного, сколько потому, что случай этот напомнил ему совсем другую историю, оставившую горький, неизгладимый, постыдный след в его душе.

И снова, кровоточа, обжигая душу, припомнилось ему пережитое в молодости, когда он еще носил свое исконное имя Темучин, когда никто еще не мог предположить, что в нем, сироте, безотцовщине Темучине, грядет Повелитель Четырех Сторон Света, когда и сам он еще не помышлял ни о чем подобном. Тогда, в далекой молодости, пережил он трагедию и позор. Молодая, посватанная родителями еще с детства, жена его Бортэ в дни медового месяца была похищена при набеге соседнего племени меркитов, и, пока он сумел отбить ее в ответном набеге, прошло немало дней, много дней и ночей, подсчитывать которые с точностью у него не хватало сил и теперь, когда он шел с

многотысячным войском на завоевание Запада, дабы утвердить и сделать навеки недосягаемым на троне мирового господства свое имя, дабы все затмить и... все забыть.

В ту далекую ночь, когда подлые меркиты беспорядочно бежали после трехдневной кровопролитной схватки, когда они бежали, бросив табуны и стойбища, бежали под страшным, беспощадным натиском, только бы спасти свои жалкие жизни, от возмездия, когда исполнилась клятва мести, в которой было сказано:

...Древнее, издалека видное свое знамя
Я окропил перед походом кровью жертвы,
В свой низко рокочущий, обтянутый
Воловьей кожей барабан я ударил.
На своего черногривого бегунца я сел верхом.
Свой стеганый панцирь я надел.
Свой грозный меч я в руки взял.
С удит-меркитами я буду биться до смерти...
Весь народ меркитский я истреблю до мальца,
Пока их земли не станут пустыми...

когда эта страшная клятва исполнилась сполна в ночи, оглашенной криками и воплями, среди бегущих в панике, среди преследуемых удалялась крытая повозка. "Бортэ! Бортэ! Где ты? Бортэ!" - кричал и звал Темучин в отчаянии, кидаясь по сторонам и нигде ее не находя, и когда наконец он настиг крытую повозку и его люди перебили с ходу возниц, то Бортэ откликнулась на зов: "Я здесь! Я Бортэ!" - и спрыгнула с повозки, а он скатился с коня, и они бросились друг другу навстречу и обнялись во тьме. И в то мгновение, когда молодая жена оказалась в его объятиях, целая и невредимая, он ощутил, как неожиданный удар в сердце, незнакомый, чуждый запах, должно быть, крепко прокуренных усов, оставшийся от чьего-то

прикосновения на ее теплой, гладкой шее, и замер, прикусив губы до крови. А вокруг шла схватка, битва, расправа одних над другими...

С той минуты он уже не ввязывался в бой. Посадив вызволенную из плена жену в повозку, повернул назад, пытаясь совладать с собой, чтобы не высказать сразу то, что прожгло его. И мучился потом всю жизнь. Понимал - не по своей воле оказалась жена в руках врагов. И, тем не менее, какой ценой удалось ей не пострадать? Ведь не один волос с ее головы не упал. Судя по всему, Бортэ в плену не была мученицей, нельзя было сказать, что вид у нее был настрадавшийся. Нет, и потом откровенного разговора об этом у них не возникало.

Когда те немногочисленные меркиты, которым не удалось после разгрома откочевать в другие страны или в труднодоступные места, уже не представляли ни малейшей опасности, когда они пошли в пастухи и прислугу, превратились в рабов, никому не понятна была неумолимая жестокость мести Темучина, к тому времени ставшего уже Чингисханом. В результате все те меркиты, которые не сумели бежать, были перебиты. И никто из них не мог уже сказать, что имел какое-либо отношение к его Бортэ в бытность ее в меркитском плену.

Позже у Чингисхана было еще три жены, однако ничто не могло залечить боль от того первого, жестокого удара судьбы. Так и жил хаган с этой болью. С этой кровоточащей, хоть и никому не ведомой, душевной раной. После того как Бортэ родила первенца - сына Джучи, - Чингисхан скрупулезно вычислял, получалось - могло быть и так, и эдак, ребенок мог быть и его, и не его сыном. Кто-то, так и оставшийся неизвестным, нагло посягнувший на его честь, лишил его на всю жизнь покоя.

И хотя тот, другой неизвестный, от которого родила в походе вышивальщица знамен, не имел к хагану никакого отношения, кровь властелина вскипела.

Человеку порой так мало надо, чтобы в мгновение ока мир для него нарушился, перекосился и стал бы не таким, как был только что - целесообразным и цельно воспринимаемым... Именно такой переворот произошел в душе великого хагана. Все вокруг оставалось таким же, каким было до известия. Да, впереди гарцевали на вороных конях знаменосцы с развевающимися драконовыми знаменами; под его седлом шел, как всегда, иноходец Хуба; рядом и позади на отличных скакунах почтительно поспешала свита; вокруг держалась верная стража - отряды "полутысячников" - кезегулов; на всем пространстве, насколько мог охватить взгляд, двигались по степи войсковые тумены - разящая мощь, и тысячные обозы - их опора. А над головой, над всем этим людским потоком плыло по небу верное белое облако, то самое, что с первых дней похода свидетельствовало о покровительстве Верховного Неба.

Все было, казалось, прежним, и однако, нечто в мире сдвинулось, изменилось, вызывая в хагане постепенно нарастающую грозу. Стало быть, кто-то не внял его воле, стало быть, кто-то посмел свои необузданные плотские страсти поставить выше его великой цели, стало быть кто-то умышленно пошел против его повеления! Кто-то из его конников больше алкал женщину в постели, нежели жаждал безупречно служить, неукоснительно повиноваться хагану! И какая-то ничтожная женщина, вышивальщица - разве после нее некому будет вышивать? - пренебрегая его запретом, решилась родить, когда все другие обозные женщины

закрыли свои чрева от зачатий до особого его разрешения!..

Эти мысли глухо прорастали в нем, как дикая трава, как дикий лес, затемняя злобой свет в глазах, и хотя он понимал, что случай в общем-то ничтожный, что следовало бы не придавать ему особого значения, другой голос, властный, сильный, все более ожесточенно настаивал, требовал сурового наказания, казни ослушников перед всем войском и все больше заглушал и оттеснял иные мысли.

Даже неутомимый иноходец Хуба, с которого хаган в тот день не слезал, почувствовал точно бы дополнительную тяжесть, все более увеличивающуюся, и неутомимый иноходец, всегда мчащийся ровно, как стрела, покрылся мыльной пеной, чего с ним прежде не случалось.

Молча и грозно продолжал путь Чингисхан. И хотя, казалось бы, ничто не нарушало похода, ничто не мешало движению степной армады на Запад, осуществлению его великих замыслов покорения мира, нечто, однако, произошло: какой-то незримый, крохотный камешек покатился с незыблемой горы его повелений. И это не давало ему покоя. Он думал об этом в пути, это его беспокоило, как заноза под ногтем, и, думая все время об одном, он все больше раздражался на своих приближенных. Как они посмели доложить ему только теперь, когда женщина уже родила, а где они были прежде, куда они смотрели, разве так трудно было заметить беременную? И тогда разговор был бы другой - погнали бы ее в три шеи, как собаку блудливую. А теперь как быть? Когда ему доложили о случившемся, он резко спросил вызванного для объяснений нойона, отвечающего за обозы, - как так могло случиться, что все это оставалось незамеченным, пока вышиваль-

щица не родила, пока не был услышан верными людьми плач новорожденного? Как могло случиться такое? На что нойон невразумительно отвечал, что-де вышивальщица знамен, по имени Дугуланг, жила в отдельной юрте, всегда на отшибе, ни с кем не общалась, ссылаясь на занятость, имела свою повозку, при ней состояла прислужница, а когда к ней приходили по делам, то вышивальщица сидела, обернутая ворохом тканей, обычно шелками вышиваемых знамен. И люди думали, что делает она это просто для красоты, поскольку любит наряжаться. И потому трудно было разглядеть, что она беременна. Кто отец новорожденного - неизвестно. Вышивальщицу еще пока не допрашивали. Прислужница же твердит, что ничего не знает. Пойди ищи ветра в поле...

Чингисхан с досадой думал о том, что эта история недостойна его высокого внимания, но поскольку запрет на деторождение установлен им самим и поскольку каждый из войсковых старшин, боясь за свою голову, спешил донести о случившемся вышестоящему, то он, хаган, оказался заложником собственного высочайшего повеления. Отступить от своего повеления он не мог. И кара была неминуема...

Около полуночи сотник Эрдене, сославшись на спешные поручения, сказал, что направляется к тысячному, но то был лишь повод выйти из лагеря, чтобы той же ночью бежать вместе со своей возлюбленной. Он не знал еще, что хагану уже все известно, не знал, что бежать ему с Догуланг и ребенком не удастся.

Ведя запасного коня в поводу, точно охотничью собаку на привязи, сотник Эрдене благополучно обошел лагеря и, приближаясь к обозу,

вблизи которого обычно располагалась юрта Догуланг, молил Бога лишь об одном - чтобы не напороться вдруг на нойонский объездной дозор. Нойонский дозор - самый придирчивый и жестокий, если вдруг заметит кого-нибудь из конников нетрезвым, выпившим случаем молочной водки, никогда не пощадит, заставит впрячься в повозку вместо коня, а возница будет погонять кнутом...

Покинув свою сотню, уходя в бега, Эрдене знал, что если его поймают, ему грозит высшая кара - удушение кошмой или предание смерти через повешение. Другой исход мог быть лишь в случае, если удастся бежать, уйти в далекие края, в иные страны.

Ночь в степи и в этот раз стояла лунная. Повсюду располагались лагеря, табуны, повсюду вповалку у тлеющих костров спали воины. Среди такого количества людей и обзов мало кому было дела до того, кто куда передвигается. На это и рассчитывал сотник Эрдене, и ему с Догуланг и сыном удалось бы бежать, если бы не судьба...

Что случилась беда, он понял тотчас же, как приблизился к табору мастеровых. Соскочив с седла, сотник замер в тени коней, крепко держа их под уздцы. Да, случилась беда! Возле крайней юрты горел большой костер, освещая округу тревожно полыхающим светом. С десяток верховых жасаулов, громогласно переговариваясь, топтались возле костра на конях. Те, что спешились, их было человека три, запрягали повозку, ту самую, на которой они с Догуланг собирались бежать этой ночью. Потом Эрдене увидел, как жасаулы вывели из юрты Догуланг с ребенком на руках. Она стояла в свете костра в своей куньей шубе, прижимая дитя к себе, бледная, беспомощная, напуганная. Жасаулы о

чем-то ее спрашивали. Доносились возгласы: "Отвечай! Отвечай, тебе говорят! Потаскуха, блудница!" Потом донесся вопль прислужницы Алтун. Да, это был ее голос, безусловно, ее. Алтун кричала: "Откуда мне знать?! За что вы меня бьете? Откуда мне знать, от кого она родила! Не в степи, не сейчас же это случилось! Да, родила она ребенка недавно, сами видите. Так что же, разве вы не можете понять, что девять месяцев назад, выходит, случилось все это?! Так откуда мне знать, когда и с кем у нее было. Зачем вы меня бьете?! А ее зачем стращаете, до смерти напугали, - она же с новорожденным! Разве она не служила вам, не расшивала ваши боевые знамена, с которыми вы идете в поход? За что теперь убиваете, за что?"

Бедная Алтун, как травинка под копытом, что она могла поделать, когда сам сотник Эрдене не посмел сунуться, да и что бы он мог против десятка вооруженных жасаулов?! Разве что погибнуть, унеся с собой одного или двоих? Но что бы это дало? Тем и берут всегда жасаулы - сворой своей. Только и ждут, чтобы кинуться всей сворой, чтобы терзать, чтобы кровь лилась!

Сотник Эрдене видел, как жасаулы усадили Догуланг с ребенком на повозку, туда же бросили прислужницу Алтун и повезли их куда-то в ночь.

И на том все улеглось, все стихло вокруг, стоянка опустела.

И только тогда стали слышны в стороне собачий лай, ржание лошадей, какие-то невнятные голоса на привалах.

У юрты вышивальщицы Догуланг догорал костер. Поглотив суету, муки борения людские, бесстрастно глядели безмятежно сияющие без-

звучные звезды на опустевшее пространство, точно тому, что случилось, и следовало быть...

Двигаясь, как во сне, сотник Эрдене нащупал онемевшими вмиг, похолодевшими руками узду на голове запасного коня, стащил ее, не ощущая собственных усилий, и бросил коню под ноги. Глухо брякнули удила. Эрдене услышал свое стесненное дыхание, дышать становилось все тяжелее. Но он еще нашел в себе силы, чтобы прихлопнуть лошадь по холке. Эта лошадь теперь была ни к чему, теперь она была свободна, никакой нужды в ней не было, и она побежала себе рысцой в ближайший ночной табун. А сотник Эрдене бесцельно побрел по степи, не ведая сам, куда идет, зачем идет. За ним тихо ступал в поводу его звездолобый Акжулдуз - верный и неразлучный боевой конь, на котором сотник Эрдене ходил в сражения, но на котором так и не удалось ускакать, угоняя от злой судьбины повозку с любимой женщиной и народившимся ребенком.

Эрдене шел наугад, как слепой; глаза его были полны слез, стекавших по мокрой бороде, и ровно струящийся лунный свет судорожно колыхался на его согбенных, вздрагивающих плечах... Он брел, как изгнанный из стаи одинокий дикий зверь, предоставленный в целом мире самому себе: сможешь жить - живи, не сможешь - умри. И больше никакого выбора... Что было делать теперь ему, куда было деваться? Не оставалось ничего, кроме как умереть, убить себя ударом ножа, ударом в грудь, в нестерпимо ноющее сердце, и тем самым унять, прекратить эту сжигающую его боль или же исчезнуть, сгинуть, сбежать, затеряться где-нибудь навсегда...

Сотник упал на землю и, глухо рыдая, пополз на животе, обдирая о камни ладони и

ногти, но земля не расступилась, потом он поднялся на колени и нащупал на поясе нож...

В степи было безмолвно, пустынно и звездно. Лишь верный конь Акжулдуз терпеливо стоял рядом в лунном озарении, всхрапывая, в ожидании приказа хозяина...

В то утро, прежде чем двинуться в поход, барабанщики, заранее собранные на холме, ударили сигнал сбора войска. И, ударив, добулбасы уже не стихали, сотрясая округу нарастающим, надсадным гулом тревоги. Барабаны из воловьих кож рокотали, ярились, как дикие звери в западне, созывая на казнь блудницы, вышивальщицы знамен, - мало кто знал, что имя ее Догуланг, - родившей в походе ребенка.

И выстраивались под шаманский гул барабанов конные когорты при всем оружии, как на параде, полукружьем вокруг холма, сотня за сотней, а по флангам располагались обозы с поклажей и на них весь подсобный люд, всякого рода походные мастеровые - юртовщики, оружейники, шорники, швеи, мужчины и женщины, все молодые, все плодоносящей поры. Это всем им в устрашение и назидание устраивалась показательная казнь. Всякий, посмевший нарушить повеление хагана, будет лишен жизни!

Добулбасы продолжали греметь на холме, холодя кровь в жилах, вызывая в душах оцепенение страха, а потому и согласие с тем, чему предстояло быть по воле Чингисхана, и даже одобрение тому.

И вот под гул несмолкающих добулбасов на холм пронесли в золотом паланкине самого хагана, учинявшего казнь опасной ослушницы, так и не назвавшей имени того, от кого она

родила. Паланкин опустили на рыжем холме посреди знамен, купающихся в первых лучах солнца, развевающихся на ветру, с расшитыми шелком огнедышащими драконами. Это его, хагана, символом был дракон в могучем прыжке, но он и не подозревал, что вышивальщица, одухотворившая шитье, имела в виду не его, а другого. Того, кто был драконом, стремительным и бесстрашным в ее объятиях. И никому вокруг было невдомек, что за это она теперь и расплачивалась головой.

И та минута приближалась. Барабаны постепенно сбавляли громкость с тем, чтобы смолкнуть перед казнью, накаляя этим напряженную тишину, когда в страшном ожидании время расплывается, распадается и замирает, и затем снова оглушительно и яростно загрохотать, сопровождая процесс пресечения жизни диким рокотом, завораживая им, вызывая в опьяненном сознании каждого очевидца экстаз слепой мести, злорадство и тайную радость, что казни через повешение подвергается не он, а кто-то другой.

Барабаны смирялись. И все собравшиеся были напряжены, даже кони под всадниками замерли. Каменно-напряженным было и лицо самого Чингисхана. Жестко сжатые губы и немигающий холодный взор узких глаз выражали нечто змеиное.

Барабаны смолкли, когда из ближайшей к месту казни юрты вывели вышивальщицу знамен Догуланг. Дюжие жасаулы подхватили ее под руки и втащили в повозку, запряженную парой коней. Догуланг стояла в повозке, поддерживаемая сзади стоящим рядом сумрачным молодым жасаулом.

Люди в рядах загудели, особенно женщины: вот она, та самая вышивальщица! Блудница!

Ничейная жена! Хотя ведь могла при своей молодости и красе быть второй или третьей женой какого-нибудь нойона! А был бы он к тому еще и старец какой - и того лучше. Горя не знала бы. Так нет, завела себе любовника и родила, бесстыжая! Все равно что плюнула в лицо самого хагана! А теперь пусть расплачивается. Пусть ее вздернут на горбу верблюжьем! Доигралась, красотка! Этот безжалостный суд молвы был продолжением злобного гула добулбасов, для того и гремели барабаны из воловьих кож так настойчиво и оглушительно, чтобы ошеломить, возбудить ненависть к тому, кого возненавидел сам хаган.

- А вот и прислужница с ребенком! Глядите! - вскричали, злорадствуя, обозные женщины. То действительно была прислужница Алтун. Она несла новорожденного, завернутого в тряпье. В сопровождении громилы-жасаула, боязливо оглядываясь, вся съежившись, Алтун шла у повозки, как бы подтверждая своей ношей преступность вышивальщицы, приговоренной к смерти.

Так их вели для устрашающего обозрения перед казнью. Догуланг понимала, что теперь иного исхода быть не могло: никакого прощения, никакого помилования.

В юрте, откуда их выволокли на позор, она успела покормить ребенка грудью в последний раз. Ничего не ведая, несчастное дитя усердно чмокало, пребывая в дремотном легком сне под вкрадчиво стихающие звуки барабанов. Прислужница Алтун была рядом. Сдавленно плача, удерживаясь от громких рыданий, она то и дело зажимала себе рот ладонью. И в те минуты им удалось переброситься несколькими словами.

- Где он? - тихо шепнула Догуланг, торопливо перекладывая ребенка от одной груди к

другой, хотя понимала, что Алтун не могла знать того, чего не знала она сама.

- Не знаю, - ответила та в слезах. - Думаю, далеко.

- Только бы! Только бы! - взмолилась Догуланг.

Прислужница горько покивала в ответ. Обе они думали об одном - только бы удалось сотнику Эрдене скрыться, ускакать подальше, исчезнуть с глаз долой.

За юртой послышались шаги, голоса:

- Ну, тащи их! Волоки!

Вышивальщица в последний раз прижала ребенка, горестно вдохнула его сладковатый запах и дрожащими руками передала его прислужнице:

- Пока проживет, присмотри...

- Не думай об этом! - Алтун захлебнулась от комка слез и больше уже не могла сдерживаться. Зарыдала громко и отчаянно.

И тут жасаулы поволокли их наружу.

Солнце уже поднялось над степью, зависнув над горизонтом. Со всех сторон за скоплением войск и обозов, готовых двинуться в поход после казни вышивальщицы, простирались сарозеки - великие степные равнины. На одном из холмов сиял золотистый паланкин хагана. Выходя из юрты Догуланг успела увидеть краем глаза этот паланкин, в котором сидел сам хаган - недоступный, как Бог, а вокруг паланкина развевались на степном ветерке расшитые ее же руками знамена с огнедышащими драконами.

Чингисхану, восседавшему под балдахином, все было хорошо видно с того холма - и степь, и войско, и обозный люд, а в вышине, как всегда, плыла над его головой верная белая тучка. Казнь вышивальщицы задерживала в то утро поход. Но следовало сделать одно, чтобы

продолжить другое. Предстоящая казнь была не первой и не последней казнью в его присутствии - самые различные случаи ослушания карались именно таким способом, и всякий раз хаган убеждался, что прилюдная казнь необходима для повиновения народа единому, верховным лицом установленному порядку, поскольку и страх, и низменная радость, что насильственная смерть постигла не тебя, заставляет людей воспринимать страшную кару как должную меру наказания и потому не только оправдывать, но и одобрять действия власти.

И в этот раз, когда вышивальщицу вывели из юрты и заставили ее взойти на повозку для позорного объезда, люди, как рой, загудели, задвигались. На лице же Чингисхана не дрогнул ни один мускул. Он сидел под балдахином в окружении развевающихся знамен и застывших у древков, словно каменные истуканы, кезегулов. Объявленная казнь на то и была рассчитана - всякий да будет знать - даже малейшая помеха на пути великого похода на Запад недопустима. В душе хаган понимал, что мог бы не прибегать к столь жестокой расправе над молодой женщиной, матерью, мог бы помиловать ее, но не видел в том резона - всякое великодушие всегда оборачивается худо - власть слабеет, люди наглеют. Нет, он ни в чем не раскаивался, единственное, чем он был недоволен, - что так и не удалось выявить, кто же был возлюбленным этой вышивальщицы.

А она, приговоренная к смерти через повешение, уже следовала на повозке перед строем войска и обозов, в разодранном на груди платье, с растрепанными волосами - черные густые космы, сияющие угольным блеском на утреннем солнце, скрывали ее бескровное, бледное лицо. Догуланг, однако, не склонила головы, смотре-

ла вокруг опустошенным, скорбным взглядом, - теперь ей нечего было утаивать от других. Да, вот она, возлюбившая мужчину больше жизни своей, вот ее запретное дитя, рожденное от этой любви!

Но людям хотелось знать, и они кричали:

- Кобыла, а где же твой жеребец? Кто он?

И самовозбуждаясь и ожесточаясь от неосознанного чувства вины, толпа возопила, чтобы побыстрее освободить себя от низменного греха:

- Повесить суку! Повесить сейчас же! Чего тут ждать?

Устроители казни, должно быть, на то и рассчитывали, что неистовствующая толпа сможет сломить дух вышивальщицы. От ханского окружения отделился верховой, один из нойонов, зычноголосый, бравый вояка, готовый ради хагана и на это дело. Он подскакал к скорбной процессии - повозке с обреченной вышивальщицей и идущей рядом прислужнице с ребенком на руках.

- А ну, стойте, - остановил он их и, обращаясь к конным рядам, громко выкрикнул: - Слушайте все! Эта бесстыжая тварь должна указать, от кого она родила! С кем она путалась! А теперь скажи, есть ли среди этих мужчин отец твоего ребенка?

Догуланг отвечала, что нет. Настороженный гул прокатился по рядам.

Повозка двигалась от сотни к сотне, а сотники перекликались:

- У меня не оказалось! Может, ловкач тот в твоей сотне?

Тем временем зычноголосый снова и снова требовал от вышивальщицы, чтобы она указала на того, кто был отцом новорожденного.

Вот снова повозку остановили перед отрядом конников, и снова вопрос:

- Укажи, блудница, от кого ты родила?

Именно в этом строю, в голове отряда находился сотник Эрдене на своем звездолобом коне Акжулдузе. Взгляды Догуланг и Эрдене встретились. В общем гаме и суете никто не обратил внимания, как трудно отводили они глаза друг от друга, как вздрогнула Догуланг, откидывая со лба разметавшиеся волосы, как на мгновение вспыхнуло ее лицо и тут же угасло. И только сам Эрдене мог представить себе, чего стоила Догуланг эта молниеносная встреча глазами - какой радостью и какой болью обернулось для нее это мгновение. На вопрос зычноголосого нойона опомнившаяся Догуланг, взяв себя в руки, снова твердо ответила:

- Нет, нет здесь отца моего ребенка!

И опять никто не обратил внимания на то, что сотник Эрдене уронил голову, но тут же усилием воли заставил себя принять невозмутимый вид.

А палачи были уже наготове. Трое в черных балахонах с закатанными рукавами вывели на середину двугорбого верблюда, настолько громадного, что всадник в седле головой доставал лишь до середины верблюжьего брюха. За отсутствием леса в открытых степных пространствах кочевники издавна прибегали к такому способу казни - осужденных вешали на верблюжьем межгорбии - попарно на одной веревке или с противовесом, которым служил мешок с песком. Такой противовес был уже приготовлен для вышивальщицы Догуланг.

Окриками и ударами палкой палачи заставили зло орущего верблюда опуститься и лечь на землю, подобрав под себя длинные мосластые ноги. Виселица была готова.

Барабаны ожили, слегка рокоча, чтобы в нужный момент загрохотать, оглушая и вздымая души.

И тогда зычноголосый нойон снова обратился к вышивальщице, должно быть, уже на потеху:

- Спрашиваю тебя в последний раз. Тебе, глупая потаскуха, все равно погибать, и выродку твоему не жить! Как тебя понимать все-таки, неужто ты не знаешь, от кого понесла? Может, поднатужишься, припомнишь?

- Не помню, от кого. Это было давно и далеко отсюда, - отвечала вышивальщица.

Над степью прокатился грубый утробный мужской хохот и злорадный женский визг.

Нойон же не унимался с вопросами:

- Так выходит, как понимать, - на базаре где приспособилась, что ли?

- Да, на базаре! - вызывающе ответила Догуланг.

- Торговец или скиталец? А может быть, вор базарный?

- Не знаю, торговец, или скиталец, или вор базарный, - повторила Догуланг.

И опять взрыв хохота и визг.

- А какая ей разница, что торговец, что скиталец или вор - самое главное на базаре этим делом заняться!

И тут неожиданно в рядах воинов раздался чей-то голос. Кто-то сильно и громко крикнул:

- Это я - отец ребенка! Да, это я, если хотите знать!

И все разом стихли, все разом оцепенели - кто же это? Кто это откликнулся на зов смерти в последнюю минуту, навсегда уносившую с собой не выданную вышивальщицей тайну?

И все поразились: пришпоривая своего звездолобого коня, из рядов выехал вперед сотник Эрдене. И, удерживая Акжулдуза на месте,

снова повторил громко, оборачиваясь на стременах к толпе:

- Да, это я! Это мой сын! Имя моего сына - Кунан! Мать моего сына зовут Догуланг! А я сотник Эрдене!

С этими словами на виду у всех он соскочил с коня, хлопнул Акжулдуза наотмашь по шее, тот отпрянул, а сам сотник, сбрасывая на ходу с себя оружие и доспехи, отшвыривая их в стороны, направился к вышивальщице, которую уже держали за руки палачи. Он шел при полном молчании вокруг, и все видели человека, свободно шедшего на смерть. Дойдя до своей возлюбленной, приготовленной к казни, сотник Эрдене упал перед ней на колени и обнял ее, а она положила руки на его голову, и они замерли, вновь соединившись перед лицом смерти.

В ту же минуту ударили добулбасы, ударили разом и загрохотали, надсадно ревя, как стадо всполошившихся быков. Барабаны взревели, требуя общего повиновения и общего экстаза страстей. И все разом опомнились, все вернулось на круги своя, раздались команды - всем быть готовыми к движению, к походу. И возглашали барабаны: всем быть, как все, всем исполнять свой долг! А палачи немедленно приступили к делу. На помощь палачам бросились еще трое жасаулов. Они повалили сотника на землю, быстро связали ему руки за спиной, то же самое проделали и с вышивальщицей и подтащили их к лежащему верблюду; быстро накинули общую веревку - одну удавку на сотника, другую, через межгорбие верблюда, - на шею вышивальщицы и в страшной спешке, под несмолкаемый грохот барабанов, стали поднимать верблюда на ноги. Животное, не желая подниматься, сопротивлялось. Верблюд



орал, огрызался, злобно лязгая зубами. Однако под ударами палок ему пришлось встать во весь свой огромный рост. И с боков двугорбого верблюда повисли в одной связке, в смертельных конвульсиях, те двое, которые любили друг друга поистине до гроба.

В барабанной суматохе не все заметили, как паланкин хагана понесли с холма. Хаган покидал место казни, с него было довольно; наказание достигло цели, более того, превзошло ожидания - ведь обнаружился-таки тот неизвестный, обладавший вышивальщицей, что постельные утехи ставил превыше всего, им оказался сотник, один из сотников, обнаружился-таки на глазах у всех и понес заслуженную кару, быть может, в отместку за того, давнего неизвестного, так и оставшегося неизвестным, в объятиях которого побывала в свое время его Бортэ, родившая первенца, всю жизнь в глубине души не любимого хаганом...

А барабаны гудели, рокотали яростно и надсадно, сопровождая гулом своим проход верблюда с повешенными телами любовников, разделивших на двоих одну веревку, перекинутую через верблюжье межгорбие. Сотник и вышивальщица бездыханно болтались по бокам вьючного животного, - то было жертвоприношение к кровавому пьедесталу будущего владыки мира.

Добулбасы не смолкали, леденя душу, держа всех в оглушении и оцепенении, и каждый в тот день мог видеть собственными глазами то, что могло случиться и с ним, поступи он вопреки воле хана, неуклонно идущего к своей цели...

Палачи-жасаулы прошествовали со своим верблюдом - передвижной виселицей - мимо войска и обозов и, пока они погребали тела умерщвленных в заранее вырытой яме, добулбасы не умолкали, барабанщики работали в поте лица.

Войско тем временем выступило в путь, и сиова степная армада Чиигисхана двинулась на запад. Полчища коиницы, обозы, стада, гоиимые для прикорма, оружейные и прочие подсобные мастерские на колесах, все, кто шел в походе, все до едина, поспешио снимались, поспешно покидали то проклятое место в сарозекской степи, все уходили ие мешкая, и осталась на покииутом месте лишь одиа иеприкаяиная душа, ие зиавшая куда себя деть и ие посмевшая напомнить о себе, - прислужиица Алтун с ребенком на руках. О ней вдруг все забыли, от нее уходили, словио бы стыдясь того, что она еще существует, все делали вид, что ее не видят, все бежали, как с пожара, всем было не до нее.

Вскоре все смолкло вокруг, иикаких добулбасов, иикаких возглашеиий, никаких зиамеи... Лишь вмятины от копыт, уиавожеиный путь, указывающий иаправлеиие похода, - исчезающий след в сарозекской степи...

Покинутая всеми, в оглушительиом одиночестве, прислужиица Алтун бродила, подбирая у вчерашиих очагов остатки подгорелой и брошеиной пищи, складывая про запас полуобглоданные кости в сумку, и среди прочего иаткиулась иа оставлеиную кем-то' овчииу, взвалила ту шкуру себе на плечи, чтобы постелить ее иа ночь под себя и ребенка, матерью которого оиа оказалась поневоле...

Поистине Алтуи ие знала, что ей делать, куда путь держать, как быть дальше, где искать приюта, как прокормить младеица. Пока светило солнце, она еще могла иадеяться на какое-то чудо: а вдруг да улыбиется счастье, вдруг да встретится жилище - затерявшаяся в степи пастушья юрта. Так думалось ей, так пыталась она обиадежить себя, рабыия, получившая неча-

янно и свободу, и ту ношу судьбы, о которой она страшилась думать. Ведь новорожденный вскоре проголодается, потребует молока и помрет у нее на глазах от голода. Этого она страшилась. И была бессильна что-либо предпринять.

Единственное и маловероятное, на что могла рассчитывать Алтун, - это обнаружить в степи людей, если таковые существовали в этих пустынных краях, и, если окажется среди них кормящая мать, поднести ей ребенка, а себя предложить в добровольное рабство...

Женщина бродила неприкаянно по степи, шла наугад то на восток, то на запад, то снова на восток... Она шла с ребенком на руках без отдыха. День приближался к полудню, когда дитя стало все больше ерзать, хныкать, плакать, просить грудь... Женщина перепеленала младенца и пошла дальше, убаюкивая его на ходу. Но вскоре ребенок заплакал сильнее и уже не утихал, плакал до синевы, и тогда Алтун остановилась и закричала в отчаянии:

-Помогите! Помогите! Что же мне делать?

На всем необозримом степном пространстве не было ни дымка, ни огонька. Безлюдно простиралась вокруг степь, глазу не на чем остановиться... Бескрайняя степь да бескрайние небеса, лишь маленькое белое облачко тихо кружило над головой...

Ребенок корчился в плаче. Алтун взмолилась и запричитала:

- Ну, что же ты хочешь от меня, несчастный?! Ведь тебе от роду седьмой день! На свое несчастье появился ты на этот свет... Чем же мне накормить тебя, сиротиночка? Не видишь - вокруг ни души! Только мы с тобой в целом мире, только мы с тобой, горемычные, и только белая тучка в небе, даже птица не летит, только белая тучка кружит... Куда же мы с тобой

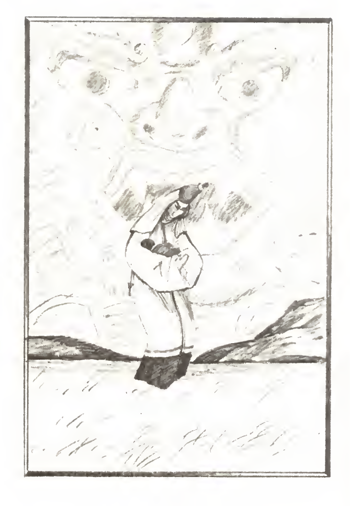
пойдем? Чем мне кормить тебя? Покинуты мы, брошены, а отец и мать твои повешены и закопаны, и куда идут люди войной, и зачем сила на силу прет со знаменами да барабанами, и чего ищут люди, обездолив тебя, новорожденного?!

Алтун снова побежала по степи, крепко прижимая к себе плачущее дитя, побежала, чтобы только не стоять, не бездействовать, не разрываться живьем от горя... А младенец не понимал, захлебывался в плаче, требуя своего, требуя теплого материнского молока. В отчаянии Алтун присела на камень, со слезами и гневом рванула ворот своего платья и сунула ему грудку свою, уже немолодую, никогда не знавшую ребенка:

- Ну, на, на! Убедись! Было бы чем кормить, неужто я не дала бы тебе молока пососать, сиротиночке несчастной! На, убедись! Может, поверишь и перестанешь терзать меня! Хотя что я говорю! Кому я говорю! Что моя пустышка тебе, что мои слова! О, Небо, какое же наказание ты уготовило мне!

Ребенок сразу примолк, завладев грудью, и, приноравливаясь всем существом своим к ожидаемой благодати, зачмокал, заработал деснами, то открывая, то закрывая при этом заблестевшие радостно глазки.

- Ну и что? - беззлобно и устало укоряла женщина сосунка.- Убедился? Убедился, что попусту сосешь? Да ты ведь сейчас зайдешься плачем пуще прежнего, и что мне тогда с тобой делать в этой проклятой степи? Скажешь - обман, да разве бы стала я тебя обманывать? Всю жизнь в рабынях хожу, но никогда никого не обманывала, мать еще в детстве говорила, у нас, в роду моем, в Китае никто никого не



обманывал. Ну, ну, потешься малость, сейчас ты узнаешь горькую истину...

Так приговаривала прислужница Алтун, готовя себя к неизбежной участи, но - странно ей было, что сосунок, кажется, не собирался отказываться от пустой груди, а наоборот, блаженство светилось на его крохотном личике...

Алтун осторожно вынула из уст младенца сосок и тихо вскрикнула, когда вдруг брызнула из него струйка белого молока. Пораженная, она снова дала грудь ребенку, потом снова отняла сосок и опять увидела молоко. У нее появилось молоко! Теперь она явственно почувствовала прилив некой силы во всем своем теле.

- О, Боже! - невольно воскликнула прислужница Алтун. - У меня молоко! Настоящее молоко! Ты слышишь, маленький мой, я буду твоей матерью! Ты не погибнешь теперь! Небо услышало нас, ты мое выстраданное дитя! Имя твое Кунан, так назвали тебя родители, твои отец с матерью, полюбившие друг друга, чтобы явить тебя на свет и погибнуть из-за этого! Поблагодари, дитя, того, кто явил нам это чудо - молоко мое для тебя...

Потрясенная происшедшим, Алтун умолкла, жарко стало, пот выступил на челе. Озираясь вокруг в том бескрайнем пространстве, не заметила, не увидела она ничего, ни единой души, ни единой твари, только солнце светило, и кружила над головой одинокая белая тучка.

Насыщаясь и наслаждаясь молоком, младенец засыпал, тельце его расслаблялось, доверительно покоясь на полусогнутой руке, дыхание становилось ровным, а женщина, позабыв обо всем, что было пережито, преодолевая все еще гудящий в ушах беспощадный бой добулбасов, отдалась неведомым ранее сладостным ощущениям кормящей матери, открывая в том для себя

некое благодатное единство земли, неба, молока...

А тем временем поход продолжался... Все дальше на запад катилась заданным ходом великая степная армада завоевателя мира. Войска, обозы, гурты...

В сопровождении стражи и свиты, за знаменосцами с развевающимися знаменами, на которых яростные драконы, расшитые шелками, изрыгали пламя, двигался Чингисхан на своем неизменном и неутомимом иноходце поразительной, как сама судьба, масти - с белой гривой и черным хвостом.

Земля уплывала назад, гудя под литыми копытами иноходца, земля убегала назад, но не убавлялась, а все прирастала, постоянно простираясь до вечно недостижимого горизонта все новыми и новыми пространствами. И не было тому конца и края. И будучи песчинкой по сравнению с бескрайностью и величием земли, хаган жаждал обладать всем, что было обозримо и необозримо, достигнуть признания его Повелителем Четырех Сторон Света. Потому и шел завоевывать, и вел войско в поход...

Хаган был суров и молчалив, как, впрочем, и положено быть тому. Но никто не предполагал, что творилось у него на душе. Никто ничего не понял и тогда, когда вдруг случилось совершенно неожиданное, - когда хаган вдруг круто повернул коня, повернул вспять, так круто, что поспешавшие следом чуть было не столкнулись с ним и едва успели принять в стороны. Тревожно и тщетно обозревал хаган небеса, прислонив дрожащую ладонь к глазам, нет, не задержалось, не отстало в пути белое облачко, не было его ни впереди, ни позади...

Так неожиданно исчезло оно, неизменно сопровождавшее его белое облачко. Больше оно не

появилось ни в тот день, ни на второй, ни на десятый. Облачко покинуло хагана.

Дойдя до Итиля, Чингисхан понял, что Небо отвернулось от него. Дальше он не пошел. Отправил завоевывать Европу сыновей и внуков, сам же вернулся назад, в Ордос, чтобы здесь умереть и быть похороненным неизвестно где...

* * *

Поезда в этих краях шли с запада на восток и с востока на запад...

В середине февраля 1953 года среди пассажирских поездов, шедших через сарозекские степи с востока на запад, следовал поезд с дополнительным спецвагоном в голове состава. Безномерной вагон этот, прицепленный сразу за багажным, внешне ничем особо не отличался от остальных, но только внешне, - одна часть спецвагона была почтовым отделением, другая же его половина, наглухо отделенная от почтового блока, служила путевым следственным изолятором для лиц, представлявших особый интерес для органов госбезопасности. Таким лицом благодаря задуманному старшим следователем одного из оперативных отделов госбезопасности Казахстана Тансыкбаевым делу оказался в этот раз Абуталип Куттыбаев. Это его везли в том арестантском отсеке в сопровождении самого Тансыкбаева и усиленной охраны. Везли для очных ставок в другие города.

Тансыкбаев оказался неутомим в достижении поставленной цели - допросы продолжались и в пути. Задача Тансыкбаева заключалась в том, чтобы шаг за шагом выявить подрывную сеть, созданную вражескими спецслужбами из лиц, бежавших при загадочных обстоятельствах из

немецкого плена, оказавшихся в Югославии и вошедших там в прямые контакты не только с будущими югославскими ревизионистами, но и с английской разведкой. Необходимо было разоблачить завербованных и затаившихся до срока врагов Советской власти путем неустанных допросов, сличения показаний, прямых и косвенных улик и, главное, через торжество королевы следствия - полное признание обвиняемыми их вины и раскаяние в содеянном.

Начало тому было уже положено - в процессе допросов Абуталип Куттыбаев припомнил около десятка имен бывших военнопленных, воевавших в Югославии; большинство из них при проверке оказались живыми и здоровыми, проживающими в разных концах страны. Эти люди уже были арестованы и, в свою очередь, на допросах назвали еще много имен, значительно пополнив тем самым список югославских предателей. Одним словом, дело обрастало живой плотью и, с благословения вышестоящего начальства, придерживавшегося мнения, что профилактика в выявлении вражеских элементов никогда не вредна, вступало во вполне серьезную фазу. В случае успеха на фоне разгоравшегося международного конфликта с югославской компартией, предания Тито идеологической анафеме самим Сталиным оно могло оказаться весьма выигрышным и обещало "большой урожай" не только зачинателю процесса Тансыкбаеву, но и многим его коллегам из других городов, проявлявшим чрезвычайную заинтересованность по той же причине - всем им хотелось, пользуясь ситуацией, выдвинуться. Отсюда шла согласованность действий. Во всяком случае, в таких областных городах, как Чкалов (бывший Оренбург), Куйбышев, Саратов, куда везли Абуталипа Куттыбаева на очные

ставки и перекрестные допросы, приезда Тансыкбаева ожидали с нетерпением.

Тансыкбаев не терял времени, он любил темп, напор в работе. От него не ускользнуло, как подействовал на подследственного выезд из места заключения, с какой болью и тоской вглядывался тот сквозь решетку в проносящиеся за окном пристанционные поселки. Тансыкбаев понимал, что происходило у Куттыбаева на душе, и пытался внушить ему, насколько возможно, довернтельным тоном, что он, следователь-де, нисколько не желает ему зла, потому как предполагает, что не так уж велика вина самого Куттыбаева, что-де ясно, конечно, что не он, Абуталип Куттыбаев, резидент, руководитель агентурной сети, зарезервированной спецслужбами на случай чрезвычайной ситуации в стране, и если Куттыбаев поможет следствию обнаружить главаря-резндента н, главное, раскрыть, железно доказать это на очной ставке, то свою участь он этнм может облегчить. Очень даже. Смотришь, лет через пять-семь вернется к семье, к детям. В любом случае, если он поможет объективному ведению следствия, высшей меры наказания - расстрела - он избежит, и наоборот, чем больше он будет упорствовать, запутывать дело, скрывать от карательных органов истину, тем хуже для него, тем больше несчастья причинит он своей семье. Может случиться, на закрытом суде выйдет и вышка...

Еще один козырной ход Тансыкбаева заключался в том, что он внушал подследственному: если тот пойдет на сотрудннчество, то его записи сарозекских преданий, особенно "Легенда о манкурте" и "Сарозекская казнь" не будут приобщены к делу, и наоборот, если Абуталип этого не сделает, Тансыкбаев предложит суду

рассмотреть записанные им тексты как завуалированную под старину националистическую пропаганду. "Легенда о манкурте" - вредный призыв к возрождению ненужного и забытого языка предков, к сопротивлению ассимиляции наций, а "Сарозекская казнь" - осуждение сильной верховной власти, подрыв идеи главенства интересов государства над интересами личности, сочувствие гнилому буржуазному индивидуализму, осуждение общей линии коллективизации, т.е. подчинения коллектива единой цели, отсюда недалеко и до негативного восприятия социализма. А, как известно, любое нарушение социалистических принципов и интересов сурово карается... Недаром тем, кто без санкции подобрал с поля общественный колосок, дают десять лет лагерей. Что уж говорить о собирателе идеологических "колосков"! С такой подачи суд может рассмотреть дополнительные обвинения по дополнительной статье. Для большей убедительности Тансыкбаев несколько раз зачитывал вслух свои четкие умозаключения по поводу сарозекских текстов, не случайно явившихся, как всякий раз он подчеркивал, первым сигналом к аресту Куттыбаева и заведению дела...

Поезд шел уже вторые сутки. И чем ближе к сарозекам, тем больше волновался Абуталип, вглядываясь через зарешеченное окно в наплывающие просторы. В свободные от допросов часы после тягостных увещеваний и яростных угроз, он мог остаться наедине с собой, закрытый в своем арестантском купе, обитом листовым железом. Это тоже была тюрьма, как и алма-атинский полуподвал, здесь тоже окно было зарешечено, не менее крепко, чем там, здесь тоже в глазок присматривало жесткое око надзирателя, но все же это было движением в

пути, переменой мест, и, наконец, здесь он был избавлен от дикого, круглосуточно слепящего света с потолка, и самое главное - теплилась, то возгораясь, то угасая, неутихающая, саднящая душу надежда - увидеть хотя бы мельком детей, жену на полустанке Боранлы-Буранный. Ведь за все это время ни одного письма, ни одной весточки им не смог он отправить, и от них не получил ни единой строчки.

Этими надеждами и тревогами полна была душа Абуталипа с тех пор, как привезли его в крытой тюремной машине на станцию отправления под Алма-Атой и водворили в спецвагон, в купе под стражу. И как только понял он по ходу движения, что поезд идет в сарозекском направлении, так с новой силой застонала, запричитала душа его - увидеть хотя бы краешком глаза, хотя бы на мгновение детишек, Зарипу, и тогда будь что будет, только бы глянуть, узреть мимолетно...

Истосковался он до такой степени, что ни о чем другом теперь и думать не мог, только молил Бога, чтобы проезд через Боранлы-Буранный пришелся на дневное время, чтобы только не ночью, только бы не во тьме, и чтобы поезд через полустанок прошел непременно тогда, когда Зарипа и дети оказались бы на виду, а не в стенах барака.

Вот и все, что он просил у судьбы. И мало, и много. Но если подумать, то, в самом деле, что стоило случаю волей своей распорядиться так, а не иначе, - почему бы детям и Зарипе не оказаться в тот час во дворе, пусть бы детишки играли в свои игры, а Зарипа как раз развешивала бы белье на веревке и оглянулась бы между делом на проходящий поезд, и дети тоже вдруг замерли бы на месте, загляделись бы на мелькающие окна вагонов. А вдруг случилось

бы такое, что редко, но случалось, - поезд бы взял да остановился на разъезде на несколько минут! И тут душа Абуталипа разрывалась: и хотела, чтобы счастье такое вдруг приключилось, но лучше бы не надо, - нет, не выдержал бы он такого страшного испытания, умер бы, да и детишек жалко - каково-то бы им пришлось, если б увидели отца в зарешеченном окне, как зашлись бы они в реве... Нет, нет, лучше не видеться...

И чтобы укрепить себя, чтобы убедить, заговорить судьбу смилостивиться, чтобы исполнились загаданные желания, он то и дело принимался просчитывать и прикидывать, ориентируясь по железнодорожным приметам, станциям в пути, различные варианты продвижения поезда - важно было установить, в какое время суток должны были они миновать сарозекский разъезд Боранлы-Буранный. Однако сомнения и тревоги не покидали его и тогда, когда расчеты получались благоприятными, ведь поезд мог задержаться, выйти из графика, опоздать, что нередко случалось зимой при больших снегопадах. Самым обидным было бы, если бы поезд проскочил полустанок ночью, когда Зарипа с детишками будут спать, не подозревая, что отец едет мимо в каких-нибудь десятках метров от дома. Вероятность этого нельзя было исключить, и тем больше страдал Абуталип, сознавая свою полную беспомощность и полную зависимость от случая.

И еще очень опасался Абуталип и молил Бога избавить его от этой напасти - как бы кречетоглазый следователь Тансыкбаев не учинил ему очередной допрос именно в тот час, когда они будут проезжать боранлинский разъезд.

Сколько препятствий и опасностей злейшим образом противостояли чистому желанию чело-

века всего лишь мельком увидеть своих родных - такова была цена лишения свободы, и лишь одно радовало и вселяло надежду, что ему повезет, - окно в камере оказалось справа по движению, именно на той стороне, на которой располагался пристанционный барак на разъезде Боранлы-Буранный.

Все эти мысли, страхи, сомнения, втягивая Абуталипа в омут переживаний, отвлекли его от собственной участи, он, всецело погрузившись в напряженное ожидание, уже не думал о себе, не желал вникать в суть происходящего, не отдавал себе отчета в том, чем грозили ему чудовищные обвинения, выдвигаемые против него, навязываемые ему систематически требующим признания следователем Тансыкбаевым, фанатично и цинично добивавшимся поставленной цели - раскрыть сфабрикованную им же самим, якобы существующую в резерве еще с военных лет вражескую агентурную сеть, раскрыть, чтобы, ликвидировав, защитить государственную безопасность.

Не подконтрольный ни Богу, ни сатане, Тансыкбаев все рассчитал и предопределил, как Бог и сатана, оставалось только действовать. С тем он и ехал, с тем он и вез в арестантском купе Абуталипа Куттыбаева на очные ставки, чтобы поставить последние точки над "i".

Абуталип же молил Бога лишь об одном - чтобы ничто не помешало ему увидеть в окно вагона хотя бы на миг мальчишек своих Эрмеке и Даула, увидеть Зарипу, напоследок, навсегда. Большего он от жизни уже не просил, понимал подспудно и горько, что так написано ему на роду! Что это будет последним мгновением счастья, что отныне он никогда не вернется к семье, ибо то, что инкриминировалось ему Тансыкбаевым, перед которым он был абсолют-

но беззащитен и бесправен и, стало быть, столь же беззащитен и бесправен перед лицом всемогущей власти, не могло предвещать ничего иного, кроме погибели, чуть раньше или чуть позже, но погибели в лагерях. Абуталип приходил к неизбежному выводу: он обреченная жертва в руках Тансыкбаева. В свою очередь, Тансыкбаев был винтиком в абсурдной, но постоянно самозатачивающейся карательной системе, направленной на неустанную борьбу с врагами, помышляющими остановить мировое движение социализма, препятствующими торжеству коммунизма на земле.

Эта магическая формулировка, однажды обращенная к кому бы то ни было как обвинение, не могла иметь обратного хода. Она могла быть исчерпана только тем или иным наказанием: расстрелом, лишением свободы на двадцать пять лет, на пятнадцать или десять лет. Другого исхода не предусматривалось. Никто и не ждал в подобных случаях иного исхода. И жертва, и каратель одинаково понимали, что эта магическая формулировка, вступив в силу, не только оправдывала карателя, но и более того -обязывала его прибегать к любым средствам для искоренения врагов, а репрессируемого, приносимого в жертву кровавому молоху истребления инокомыслия, обязывала осознать свою обреченность как целесообразную необходимость.

Так оно и получалось. Поезд катился по сарозекской степи, колеса вращались, Тансыкбаев и его подследственный ехали в одном вагоне, чтобы сообща, при этом каждый по-своему, сделать необходимое для блага трудящихся дело - осуществить очередное разоблачение затаившихся идеологических врагов, без чего социализм был бы немыслим, самораспустился бы, иссяк в сознании масс. Потому требовалось

все время с кем-то бороться, кого-то разоблачать, что-то ликвидировать...

А поезд катился. И поскольку Абуталип ничем и никак не мог изменить судьбы, то вынужденно смирялся со своей горькой участью как с неотвратимым злом. Теперь он воспринимал суть происходящего настолько же покорно и безнадежно, насколько болезненно и отчаянно сопротивлялся тому поначалу. Теперь он все больше убеждался, что если бы ему было дано заново родиться на свет, то и тогда не удалось бы избежать столкновения с безликой, бесчеловечной силой, стоящей за Тансыкбаевым. Эта сила оказалась пострашнее войны и пострашнее плена, ибо она была бессрочным злом, длившимся, возможно, со времени сотворения мира. Возможно, Абуталип Куттыбаев, скромный школьный учитель, оказался в роду человеческом одним из тех, кто расплачивался за долгое томление дьявола от безделия в просторах Вселенной, пока не появился на земле человек, который, один-единственный из всех земных тварей, сразу сошелся с дьяволом, культивируя торжество зла изо дня в день из века в век. Да, только человек оказался таким ревностным носителем зла. В этом смысле Тансыкбаев был для Абуталипа изначальным носителем дьявольщины. Потому-то они и следовали в одном поезде, в одном спецвагоне, по одному чрезвычайно важному делу.

Когда Тансыкбаева отвлекали на разных станциях встречающие сослуживцы местного уровня, приносившие, кто по дружбе, кто по службе, всяческую дорожную снедь и выпивку, Абуталипа это даже радовало - все же меньше времени оставалось у того на терзание допросами. Пусть себе услаждается в пути. В Кзыл-Орде на вокзале была особенно радушная встреча

коллег - друзья принесли в вагон Тансыкбаева дымящееся блюдо, покрытое белым полотенцем. В коридоре за дверью засновали охранники, принимавшие угощение: "Казы, кабырга! - полушепотом, с удовольствием проговорил один из них. - А запах какой! В городе такого не бывает. Степное мясо!"

Через краешек зарешеченного окна Абуталип увидел, как Тансыкбаев в шинели внакидку вышел попрощаться на перрон. Стояли все кружком, коренастые, упитанные, как на подбор, в каракулевых шапках, с краснощекими сияющими лицами, улыбчивые, оживленно жестикулирующие и дружно хохочущие, - возможно, по поводу нового анекдота, - пар горячий валил на морозном воздухе изо ртов, каблуки, наверное, поскрипывали на тонком снегу. А бдительная милиция никого сюда не подпускала - в изголовье состава, у спецвагона стояли они, тансыкбаевцы, одни, довольные, уверенные, счастливые, и никому совершенно не было дела до того, что рядом, в арестантском купе, томился посаженный их стараниями не вор, не насильник, не убийца, а, напротив, честный, добропорядочный человек, прошедший войну и плен и не исповедовавший никакой иной веры, кроме любви к своим детям и жене, и видевший в этой любви главный смысл жизни. Но именно такой человек, не состоявший ни в какой партии на свете и потому не клявшийся и не каявшийся, был нужен им в застенках, чтобы счастливо жилось трудовому народу...

После Кзыл-Орды пошли знакомые, родные места. Близился вечер. Медленно изгибаясь в заснеженных низинах, блеснула Сыр-Дарья, и вскоре, уже на заходе солнца, завиднелось посреди степи Аральское море. Вначале то камышовой излучиной, то отдаленным краем

чистой воды, то островком напоминало море о себе, а вскоре Абуталип увидел прибойные волны на мокром песке почти у самой железной дороги. Удивительно было все это узреть в одно мгновение: и снег, и песок, и прибрежные камни, и синее море на ветру, и стадо бурых верблюдов на каменистом полуострове, и все это под высоким небом в белых разрозненных пятнах облаков.

Припомнил Абуталип, что Буранный Едигей родом с Аральского моря, что Казангап получает от знакомых рыбаков посылки с любимой им вяленой аральской рыбой через проводников на товарняках, и заныло, защемило тревожно сердце - до разъезда Боранлы-Буранный оставалось не так много - ночь езды, а утром, часам к десяти или чуть позднее, прогудит пассажирский поезд со спецвагоном в голове состава, мчась мимо боранлинских обшарпанных ветрами домиков, мимо сараюшек и верблюжьих загонов, огороженных колючими снопами, и, оставляя позади сбегающиеся пути, скроется из виду, придя и уйдя. Сколько их проходит, поездов - с востока на запад и с запада на восток, но подскажет ли сердце Зарипе, что Абуталип проедет мимо в то утро на запад в арестантском купе спецвагона, а может, детские души почуют нечто необъяснимое и тревожное, и потянет их именно в тот час поглазеть на проходящий поезд? О создатель, для чего же надо жить людям так тяжко и горько?

Февральское солнце уже закатывалось, угасало вдали холодно рдеющей багровой полосой между небом и землей, и уже смеркалось, и уже накатывалась исподволь зимняя ночь. Размывались в сумерках мелькающие видения, зажига-

лись станционные огни. А поезд, извиваясь, прокладывал путь в глубину степной ночи...

Не спалось, маялся Абуталип Куттыбаев. Закрытый в окованном жестью купе, не находил он себе места, метался из угла в угол, вздыхал, то и дело попусту просился в туалет, вызывая раздражение надзирателя. Тот уже несколько раз делал замечание приоткрыв дверцу купе:

-Заключенный, ты что все шебуршишься? Не положено так! Сиди смирно!

Но Абуталип не в силах был успокоить себя, и он взмолился,обращаясь к охраннику:

- Слушай, дежурный, умоляю, дай что-нибудь, чтобы уснуть, иначе я умру. Честное слово! А зачем я вам мертвый? Скажи начальнику своему - зачем я вам мертвый? Истинно - не могу заснуть!

Как ни странно (причину той отзывчивости Абуталип понял на другой день утром), надзиратель принес из купе Тансыкбаева две таблетки снотворного, и только тогда, приняв снотворное, задремал Абуталип уже в середине ночи, но уснуть по-настоящему так и не удалось. Мерещилось ему в полусне под дробный стук колес и завывание гудящего ветра снаружи, что бежит он впереди паровоза, бежит, надрываясь и хрипя, в страхе, что попадет под колеса, а поезд мчится за ним на всех парах. Так бежал он той безумной ночью по шпалам впереди паровоза, и казалось, что происходит это наяву, настолько было страшно и правдоподобно. Пить хотелось, в горле пересыхало. Паровоз же гнался за ним с пылающими фарами, освещая ему путь впереди. А он бежал между рельсами, вглядываясь напряженно в метельную округу, и звал, кликал жалобно, оглядываясь по сторонам: "Зарипа, Даул, Эрмек, где вы? Бегите ко мне! Это я, ваш отец! Где вы? Отзовитесь!".

Никто не отзывался. Впереди бушевала темная мгла, а позади настигал, готовый смять, раздавить его, грохочущий паровоз, и не было сил убежать, скрыться куда-нибудь от набегающего сзади все ближе и ближе, по пятам паровоза... И оттого становилось еще хуже - страх, отчаяние сковывали движения, ноги становились непослушными, дыхание прерывалось...

Рано утром, накинув фуфайку на плечи, бледный, отекший Абуталип уже сидел у зарешеченного окна и вглядывался в степь. Холодно, темно еще было снаружи, но постепенно земля прояснялась, утро входило в силу.

День обещал быть пасмурным, возможно, со снегом, хотя в небе виднелись и размытые просветы...

Да, пошли уже собственно сарозекские земли, заснеженные по зиме, заметенные сугробами, но для внимательного взора узнаваемые по очертаниям, - пригорки, овраги, поселения, первые дымки над знакомыми по прежним проездам крышами. И эти чужие крыши с зимними дымами из труб казались родными. Скоро предстояла станция Кумбель, а там, часа через три, и разъезд Боранлы-Буранный. Можно сказать, совсем уже близко - ведь сюда, в эти места, Едигей и Казангап наезжали при случае и на верблюдах - на поминки, на свадьбы... Вот и в этот ранний час кто-то ехал верхом на буром верблюде, в большой меховой шапке - лисьем малахае, и Абуталип приник к самой решетке - а вдруг это кто из своих... А что если вдруг то Едигей на своем Каранаре очутился здесь почему-либо? Что стоит ему отмахать сотню верст на своем могучем атане, который, бежит, как, должно быть, бегает жираф где-нибудь в Африке...

И как-то, сам того не замечая, поддался Абуталип настроению - стал собираться, как бы к выходу из поезда. Раза два переобувался даже, перематывал портянки, сложил вещмешок. И стал ждать. Но не усидел - добился у охраны, чтобы умыться пораньше в туалете и, возвращенный в купе, снова не знал, чем занять себя.

А поезд шел по сарозекским степям... Смиряя себя, Абуталип сидел, зажав, сомкнутые руки между коленями, и лишь изредка позволял себе смотреть в окно.

На станции Кумбель поезд простоял семь минут. Здесь все уже было своим. Даже поезда - товарные и пассажирские, встретившиеся с его поездом на путях этой большой станции перед тем, как разминуться в разные стороны, - казались Абуталипу желанными и родными, ведь они совсем недавно проходили через Боранлы-Буранный, где жили его дети и жена. Одного этого оказалось достаточно, чтобы полюбить даже неодушевленные предметы.

Но вот его поезд снова двинулся в путь, и, пока он шел вдоль перрона, пока выходил из пределов станции, Абуталип успел разглядеть показавшиеся ему знакомыми лица местных жителей. Да, да, он, безусловно, знал их, этих увиденных им кумбельцев, да и они наверняка знали сторожилов боранлинских - Казангапа, Едигея, их домочадцев, ведь сынок Казангапа Сабитжан окончил здешнюю школу, а теперь учился уже в институте...

Оставляя позади станционные пути, поезд набирал скорость, шел все быстрей и быстрей. Припомнилось Абуталипу, как приезжали они сюда с детворой за арбузами, как приезжал он за новогодней елкой и по разным другим делам...

К еде, выданной ему на утро, Абуталип даже не прикоснулся. Все думалось о том, что до разъезда Боранлы-Буранный осталось совсем немного - часа два с небольшим, и теперь Абуталип опасался , как бы не пошел снег, как бы не заметелило, - ведь тогда Зарипа и детишки будут сидеть дома, и тогда, конечно, он их не увидит даже издали...

"О Боже, - думалось Абуталипу, - воздержись в этот раз от снега. Повремени немного. Ведь и потом у тебя хватит времени на это. Ты слышишь? Прошу тебя!" Сжавшись в комок, стиснув сомкнутые руки между колен, Абуталип пытался сосредоточиться, набраться терпения, уйти в себя, чтобы не помешать загаданному, дождаться того, чего он просил у судьбы, - увидеть через окно вагона жену и детей. А вот если бы они его увидели... Утром, когда он, охраняемый за дверью надзирателем, умывался в туалете и посмотрел на себя в позеленевшее зеркало над ржавой раковиной, бросилось ему в глаза, что он бледен, желт, как мертвец, даже в плену не был так желт,и уже сед, и глаза не те, поугасшие от горя, морщины, резко прорезались на лбу... А ведь о старости еще не думалось... Если бы сыночки Даул и Эрмек, если бы Зарипа увидели его, то вряд ли признали бы - испугались бы, пожалуй. Но потом они наверняка обрадовались бы, и стоило бы ему вернуться в семью, стоило бы обрести покой рядом с детьми и женой, он снова бы стал таким, как прежде...

Размышляя об этом, Абуталип поглядывал в окно. Вот опять знакомое место - пригорки, а между ними седловинка. Мечтал когда-то приехать сюда с детворой боранлинской, чтоб набегались с пригорка на пригорок, как с волны на волну, радостно визжа.

В этот момент ключи в дверях арестантского купе решительно загремели, дверь распахнулась, на пороге стояли двое надзирателей.

- Выходи на допрос! - приказал старший из них.

- Как на допрос? Зачем? - невольно вырвалось у Абуталипа.

Надзиратель даже придвинулся к нему недоуменно, не больной ли случаем:

- Что значит, зачем? Не понимаешь, что ли, выходи на допрос!

Абуталип в отчаянье опустил голову. Кинулся бы, не раздумывая, в окно, чтобы камнем проломиться прочь, но на окне была решетка... Пришлось подчиниться. Значит, не судьба. Значит, не увидеть ему, приникнув к окну, того, чего он так ждал. Абуталип медленно поднялся с места, как человек с тяжким грузом, и пошел, сопровождаемый надзирателями, в купе к Тансыкбаеву, как на виселицу. И, однако, мелькнула последняя надежда - впереди еще часа полтора пути, может быть, допрос закончится к тому времени. Оставалось надеяться только на это. До купе Тансыкбаева было всего четыре шага. Долго шел Абуталип эти четыре шага. А тот уже ждал его.

- Заходи, Куттыбаев, поговорим, поработаем, - соблюдая строгость в лице и голосе и тем не менее довольно оглаживая свежевыбритое лицо, протертое резким одеколоном, проговорил Тансыкбаев, вглядываясь в Абуталипа пронзительными глазами. - Садись. Разрешаю садиться. Так будет удобней и тебе и мне.

Охранники остались за закрытыми дверями, готовые немедленно явиться по первому зову. Убить кречетоглазого было невозможно. Нечем. Не видно было нигде ни бутылки, ни стакана, хотя конечно, кречетоглазый не прочь был

пропустить при случае. Об этом говорил запах водки и закусок в купе.

Поезд же шел, как и прежде, разрезая движением сарозекскую степь, и все меньше оставалось пути до разъезда Боранлы-Буранный. Тансыкбаев не спешил, перечитывал какие-то записи, копался в бумагах. И Абуталип не утерпел, он истомился, извелся за несколько минут, так тяжел был ему этот вызов на допрос. И он сказал Тансыкбаеву:

- Я жду, гражданин начальник.

Тансыкбаев удивленно поднял глаза:

- Ты ждешь? - недоуменно проговорил он. - Чего ты ждешь?

- Допроса жду. Вопросов жду...

- Ах вон оно что! - протянул Тансыкбаев, подавляя в себе вспыхнувшее торжество. - Что ж, это неплохо, Куттыбаев, я тебе скажу, совсем неплохо, когда обвиняемый сам, как говорится, по доброй воле, раскаявшись, ждет допроса, чтобы ответить на дознание... Значит, ему есть что сказать, есть что открыть следственным органам. Не так ли? - Тансыкбаев понял, что именно так следует вести сегодня допрос, сменив угрожающий тон на обманчиво дружелюбный. - Стало быть, ты осознал, - продолжал он, - в чем твоя вина, и желаешь помочь следственным органам в борьбе с врагами Советской власти, даже если ты сам был врагом. Важно, что для нас с тобой Советская власть прежде всего, дороже отца-матери, разумеется, для каждого по-своему, - он замолчал удовлетворенно и добавил: - Я всегда думал, что ты разумный человек, Куттыбаев. И всегда надеялся, что мы с тобой найдем общий язык. Что молчишь?

- Не знаю, - неопределенно ответил Абуталип, - не понимаю, в чем я виноват, - добавил

он, украдкой поглядывая за окно вагона. Поезд шел напряженно, и сарозекская степь под хмуро нависающим небом убегала назад с головокружительной скоростью, как в немом кино.

- Вот что я тебе скажу. Будем откровенны, - продолжал Тансыкбаев. - Ведь тебя везут, как короля, в спецвагоне не случайно. Такое не бывает зазря. За так-сяк в купе отдельном не повезут. Значит, ты важная персона в следственном деле. От тебя многое зависит. И с тебя особый спрос. Подумай. Очень даже подумай. А теперь послушай, что я скажу. Сегодня поздно вечером мы прибываем в Оренбург, в Чкалов то есть. Там нас ждут. Это наш первый пункт. Ты знаешь, там проживают двое из твоих подельников, Попов Александр Иванович и татарин Сейфулин Хамид. Оба они уже под арестом. Кстати, с твоих показаний. И оба признаются, что вместе с тобой были в плену в Баварии, а потом вместе бежали, - кстати, при странных обстоятельствах, почему-то только вашей бригаде удалось бежать из каменоломен, в этом мы еще разберемся. А потом в Югославии подвизались, и оба они дают показания, что были на встрече с английской миссией. Ты хорошо знаешь, о чем речь. Об этом ты писал в своих воспоминаниях. Надо сказать, любопытно написанных. Нам известно, что Попов - резидент, а Сейфулин его дублер, правая рука. Ты, Куттыбаев, конечно, не первая скрипка в агентуре, потому тебе облегчение, если поможешь следствию.

- Какая агентура? Я уже говорил, что я не видел их с сорок пятого года, как кончилась война, - вставил Абуталип.

- Это неважно. Совсем неважно. Не обязательно видеться в личном порядке, с глазу на глаз. Кто-то был связным. Ну, скажем, этот

самый правдолюбец Едигей Джангельдин не ездил ли в Оренбург или куда еще? Ведь и так могло быть, что вы держали связь через кого-то. Ты подумай сначала.

- Если я скажу, что Едигей ездил в Оренбург на своем верблюде Каранаре, это пойдет? - не удержался Абуталип.

- Ты опять за свое, Куттыбаев. Напрасно. Я с тобой ведь по-хорошему, а ты уже нос воротишь. Сопротивление только во вред тебе. А насчет Едигея можешь не беспокоиться. Надо будет, возьмем и его, даже вместе с верблюдом. Если хочешь, чтобы мы его не трогали, не крути на очной ставке.

Паровоз впереди дал долгий, сильный сигнал встречному. Его мощный гудок тягостно прошелся по сердцу Абуталипа. Все меньше времени оставалось до разъезда Боранлы-Буранный. Ход рассуждений кречетоглазого ужасал Абуталипа. Для такой силы нет ничего невозможного в стране. Но в этот час больше всего угнетало Абуталипа то, что на Тансыкбаева напала необычная словоохотливость, и он не собирается заканчивать допрос.

- Так вот, - прервал молчание Тансыкбаев, отодвигая от себя бумаги и подняв глаза на Абуталипа. - Я уверен, что мы поймем друг друга, в этом твой выход. Очная ставка в Оренбурге определит главное - или ты будешь мне помогать, делать дело, или я сделаю все, чтобы ты очень сожалел, когда получишь четвертной срок, а то и вышку. Ты понимаешь, что к чему. Мы доберемся и до самого Тито, которому вы служили все эти годы. За процессом следит сам Иосиф Виссарионович. Никто не останется безнаказанным, корчевать будем беспощадно. Так что, дорогой, благодари судьбу,

что я не желаю тебе зла. Но и ты не должен оставаться в долгу. Ты понимаешь, о чем речь?

Абуталип молчал и, холодея, считал в уме минуты приближения к полустанку. Значит, так и не придется увидеть своих хотя бы в окно. Эта мысль сверлила его мозг.

- Ты что молчишь? Я тебя спрашиваю, ты понимаешь, о чем речь? - допытывался Тансыкбаев.

Абуталип кивнул головой. Конечно, он понимал, о чем речь.

- Ну, вот так бы давно! - Тансыкбаев истолковал кивок как знак согласия, он встал, подошел к Абуталипу и даже положил ему руку на плечо. - Я знал, что ты неглупый, джигит, что ты выйдешь на правильный путь. Значит, мы с тобой договорились. И ни в чем не сомневайся. Делай все, как я скажу. Самое главное - не волнуйся на очной ставке, гляди в глаза и говори все, как есть. Попов - резидент, с сорок четвертого года завербован английской разведкой, перед депортацией был на совещании у самого Тито, имеет долгосрочное задание на случай волнений. Все, этого достаточно. Теперь насчет этого татарина Сейфулина, значит, так, Сейфулин - правая рука Попова. И все - этого хватит. Остальное мы сами. Делай заявления и не сомневайся. Тебе ничего не грозит. Абсолютно ничего. Я тебя не подведу. Так, стало быть. С врагами у нас разговор короткий - врагов ликвидируем. С друзьями сотрудничаем - делаем скидку. Запомни. И еще запомни, со мной шутки плохи. А что ты такой бледный, потный какой-то, тебе что, нездоровится? Душно?

- Да, плохо себя чувствую, - сказал Абуталип, преодолевая приступ головокружения и тошноты, точно он отравился дурной пищей.

- Ну, если так, не стану тебя задерживать. Сейчас пойдешь к себе и отдыхай до самого Оренбурга. Но в Оренбурге чтобы как штык. Понял? На очной ставке чтобы никаких шатаний. Никаких "не помню, не знаю, забыл" и прочее... Все, как есть, выкладывай, и баста. А остальное пусть тебя не волнует. Остальное мы сами. Вот так. Сейчас не будем заниматься писаниной, иди отдыхай, а по итогам очной ставки в Оренбурге подпишем бумаги, как требуется. Подпишешь показания. А сейчас иди. Считаю, что мы с тобой обо всем договорились. - С этими словами Тансыкбаев отправил Абуталипа в его арестантское купе.

И с этого момента, как бы от нового рубежа, для Абуталипа началась какая-то особая жизнь. Ему показалось, что поезд ускорил свой бег. За окном стремительно мелькали хорошо знакомые места, до Боранлы-Буранного оставались считанные минуты. Надо было успокоиться, взять себя в руки и ждать, быть готовым к любому для себя исходу, но прежде всего надо было умерить скорость поезда. "Надо, чтобы поезд шел медленнее", - подумал Абуталип, заклиная некую силу, и вскоре почувствовал, или ему так показалось, что поезд вроде бы стал сбавлять скорость, за окном прекратилось раздражающее мелькание. И тогда он сказал себе: "Все будет, как я прошу!" - и немного успокоился, перестал задыхаться; приникнув к решетчатому окну, он стал ждать.

Поезд и в самом деле подходил к разъезду Боранлы-Буранный, куда беда пригнала Абуталипа изгоем, где он прижился и мечтал, пока дети подрастут, переждать невзгоды истории. Но и этому оказалось не суждено сбыться. Семья осталась брошенной на произвол судьбы,

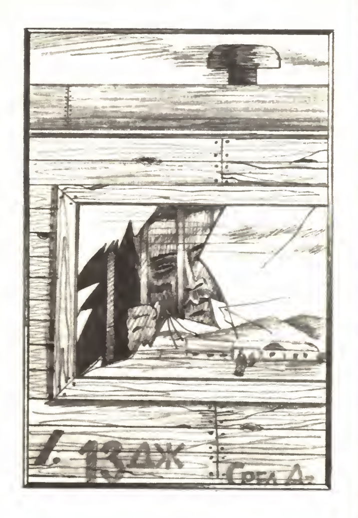
а сам он проезжал теперь мимо в арестантском вагоне.

Абуталип всматривался в окно с таким напряжением, будто должен был запомнить увиденное на всю жизнь, до последнего вздоха, до последнего света в глазах. И все, что он видел в тот предполуденный час февральской зимы: сугробы, прогалины у железной дороги, местами оголившуюся, местами заснеженную степь, - он воспринимал, как святое видение, - с трепетом, мольбой и любовью. Вот пригорок, вот ложбинка, вот тропка, по которой они с Зарипой ходили на ремонт путей с инструментом на плечах, вот полянка, где летом бегала детвора боранлинская и его мальчишки Даул и Эрмек... А вот кучка верблюдов, а вот там еще пара, и один из них - едигеевский Каранар, его же издали можно отличить, все такой же могучий, неспешно бредет себе куда-то; но что это - снег пошел вдруг, в воздухе за окном заметались снежинки, ну, конечно, ведь с утра небо набухало тучами, значит, быть непогоде, но чуточку бы погодил снежок, совсем чуточку, ведь видны уже загоны верблюжьи и первая крыша с дымом из трубы, а вот и стрелка, поезд переходит на запасную колею, колеса перестукивают на стыках, и стрелочник у будки с флажком, так это же Казангап, жилистый, как посохшее дерево; о Боже, вот промелькнула будка Казангапа, поезд движется дальше, мимо поселка: вот домики, их крыши и окна, вот кто-то вошел в дом, только спину его увидел Абуталип, а вот кто-то орудует у жердей и досок, что-то строит для детворы. Едигей, - да, это он, Едигей, в телогрейке с засученными рукавами, и рядом его дочурки, а с ними и Эрмек, да, Эрмек мой родной, дорогой мой мальчик, стоит неподалеку от Едигея и что-то

подает ему с земли, о Боже, лицо его только мелькнуло, а где же Даул, где Зарипа? Вот женщина идет беременная, то жена начальника разъезда Сауле, а вот и Зарипа, в платке, сбившемся на плечи; Зарипа и Даул, она ведет младшего за руку, они идут туда, где Едигей с детворой что-то сооружают, они идут и не знают, что он, Абуталип, судорожно зажал себе рукой рот, чтобы не закричать, не заорать дико и отчаянно: "Зарипа! Родная! Даул! Даул, сынок мой! Это я! Я вижу вас последний раз! Прощайте! Даул! Эрмек! Прощайте! Не забывайте! Я не могу без вас! Умру я без вас, без родных моих детей, без жены моей любимой! Прощайте!"

И все, что было увидено в те промелькнувшие мгновения, снова и снова возникало перед взором Абуталипа, когда поезд уже давно миновал долгожданный разъезд Боранлы-Буранный. Уже валил снег за окном, густо и обильно, уже давно все осталось позади, но для Абуталипа Куттыбаева время остановилось в минувшем пространстве, на том отрезке пути, который вмещал в себя всю боль и смысл его жизни.

Он так и не смог оторвать себя от окна, хотя из-за снега глядеть в окно было уже бессмысленно. Он так и остался прикованным к окну, потрясенный тем, что, не смирившись с творимой несправедливостью, вынужден был, однако, подчиниться некой воле, тихо, украдкой проследовать мимо жены и детей, как безмолвная тварь, ибо к тому принудила его эта сила, лишившая его свободы, и он, вместо того, чтобы спрыгнуть с поезда, объявиться, открыто побежать к истосковавшейся семье, униженный и жалкий, глядел в окошко, позволил Тансыкбаеву обращаться с собой, как с собакой, которой


1. 13ДЖ

приказано сидеть в углу и не двигаться. И чтобы как-то унять себя, Абуталип дал себе слово, которое не произнес, но понял...

Горькую сладость мимолетной встречи Абуталип испивал теперь до дна. Только это было в его силах, только это оставалось в его воле - воскрешать и воскрешать все заново, подробно, в деталях, зримо: то, как увидел вначале Казангапа, все такого же, с неизменным флажком в жилистой руке, на постоянном его посту, сколько же поездов пропустил он на своем веку, стоя то в одном, то в другом конце разъезда: и то, как потом пошли боранлинские домики, загоны для скота, дымки над трубами, и потом - как он чуть не захлебнулся от собственного крика и отчаяния, успев зажать себе рот, когда увидел Эрмека среди детворы возле Буранного Едигея, что-то сооружавшего для ребятишек в тот час, верного человека, оставшегося в мире, как утес, самим собой. Эрмек подавал Едигею то ли дощечку, то ли еще что-то, и в те несколько секунд увидено было так отчетливо, так ясно - Едигей, живо обращенный к детям, большой, кряжистый, смуглолицый, в телогрейке с засученными рукавами, в кирзачах, и мальчик в старой зимней шапчонке и валенках, и идущие к ним Зарипа с Даулом. Бедная, родная Зарипа - так близко увидена была им - и то, что платок сбился на плечи,обнажив ее черные волнистые волосы, и бледное лицо, такое трогательное и желанное; расстегнутое пальто, грубые сапоги на ногах, купленные им, наклон головы к сыночку - она что-то ему говорила, - все это, бесконечно близкое, родное, незабываемое, долго продолжало сопутствовать Абуталипу в его мысленном прощании после встречи... И ничем нельзя было заменить этой утраты, ничем и никогда...

Всю дорогу шел снег, мела, крутила пурга. На одиой из станций перед Ореибургом поезд задержался иа целый час - расчищали пути от сугробов... Слышались голоса, люди работали, проклииая погоду и все иа свете. Потом поезд сиова двииулся и шел, окутаниый метельными вихрями. В Оренбург въезжали долго, придорожиые деревья смутно высились чериыми, безмолвиыми корявыми стволами, как сушняк на брошенном кладбище. Самого города практически не было видио. На сортировочиой станции опять же долго стояли в иочи - спецвагон отцепляли от состава. Абуталип это поиял по толчкам вагоиов, по крикам сцепщиков, по гудкам маиевровых локомотивов. Потом вагон потащили еще куда-то, должно быть, иа запасный путь.

Была уже глубокая ночь, когда спецвагон был поставлеи на отведеиное ему место. Последиий толчок, последняя команда снизу: "Хорош! Отваливай!" Вагон остановился как вкопаиный.

- Ну, все! Собирайся! Выходи, заключенный! - приказал старший иадзиратель Абуталипу, открывая дверь купе. - Не задерживай! Выходи! Заспался? Глотии свежего воздуха!

Абуталип медлеиио поднялся иавстречу и отрешенно сказал, подойдя вплотиую к надзирателю:

- Я готов. Куда идти?

- Ну, готов, так шагай! А куда идти, конвой укажет, - иадзиратель пропустил Абуталипа в коридор, но потом удивлеиио и возмущенно заорал, остаиовил его:

- А вещмешок твой остается, что ли? Ты куда? Почему не берешь вещмешок? Или тебе носильщика пригласить? Верись, забери свои шмотки!

Абуталип вернулся в купе, нехотя взял забытый вещмешок и, когда снова вышел в коридор, то чуть не столкнулся с двумя местными спецсотрудниками, спешно и озабоченно идущими по вагону.

- Остановись! - прижал Абуталипа к стенке надзиратель. - Пропусти! Пусть товарищи пройдут.

Выходя из вагона, Абуталип слышал, как те двое постучались в купе Тансыкбаева.

- Товарищ Тансыкбаев! - донеслись их взволнованные голоса. - С прибытием! Уж мы заждались вас! А у нас снегопад! Извините! Разрешите представиться, товарищ майор!

Вооруженный конвой - трое в ушанках, в солдатской форме, - стоял внизу в ожидании заключенного, которого приказано было провести через пути к крытой машине.

- Ну, сходи! Чего ждешь? - торопил один из конвоиров.

Сопровождаемый надзирателем, Абуталип молча сходил по ступеням с поезда. Резко дохнуло холодом, мелко порошил снег. От морозных поручней жестко свело руку. Тьма, разрываемая путевыми огнями на незнакомой станции, путаница рельсов, заметенных пургой, тревожные сигналы маневровых толкачей.

- Сдаю заключенного номером девяносто семь! - доложил конвою старший надзиратель.

- Принимаю заключенного номером девяносто семь! - эхом ответил старший конвоир.

- Все! Шагай, куда прикажут! - сказал Абуталипу старший надзиратель на прощание. И потом добавил зачем-то: - А там посадят в машину и увезут...

Абуталип под конвоем двинулся по путям, перешагивая наугад через рельсы и шпалы. Шли, закрываясь от снега. Абуталип нес на плече вещмешок. То там, то тут подавали гудки локомотивы ночной смены.

Оренбургские коллеги, прибывшие к Тансыкбаеву в купе, чтобы увезти его в гостиницу, однако задержались, отмечая его прибытие. Коллеги предложили ради знакомства выпить и закусить тут же, в купе, тем более что ночь, не рабочее время. Кто не согласится. В разговоре Тансыкбаев счел возможным сказать, что дело пошло на лад, можно быть уверенным в успехе очной ставки, ради которой они прибыли из Алма-Аты.

Коллеги быстро сошлись, оживленно беседовали, как вдруг снаружи раздались возбужденные голоса и топот по коридору вагона. В купе ворвались конвоир и старший надзиратель. Конвоир был в крови. С диким, перекошенным лицом, отдавая честь Тансыкбаеву, крикнул:

- Заключенный номером девяносто семь погиб!

- Как погиб? - вскочил вне себя Тансыкбаев. - Что значит погиб?

- Бросился под паровоз! - уточнил старший надзиратель.

- Что значит бросился? Как бросился? - неистово тряс надзирателя Тансыкбаев.

- Когда мы подошли к путям, слева и справа маневровые двигались, - начал сбивчиво объяснять конвоир. - Там же состав передвигали. Туда-сюда... Ну, мы и остановились, чтобы переждать... А заключенный вдруг размахнулся

вещмешком, ударил меня по голове, а сам кинулся прямо под паровоз, под колеса...

Все в полной растерянности от неожиданности происшедшего молчали. Тансыкбаев стал лихорадочно собираться к выходу.

- Гад такой, сволочь, выкрутился! - выругался он с дрожью в голосе. - Все дело сорвал! А! Надо же! Ушел ведь, ушел! - и отчаянно махнул рукой, налил себе полный стакан водки.

Его оренбургские коллеги, однако, не преминули предупредить конвоира, что всю ответственность за случившееся несет конвой...

БАХИАНА

Фрагмент из нового романа

Рассеивая утреннюю дымку, высветляя обнаженную даль сизой воды, солнце вставало из самого моря. Оно все выше приподнималось ослепительным сгустком над пустынной чертой горизонта. И небо открылось.

Судя по редким, пестрым облачкам, неподвижно разбросанным по небосклону, погода обещала быть спокойной, ровной. И волны почти не давали знать о себе. Лишь изредка на тусклой морской поверхности взрывалась вдруг шальная грива затаившейся волны и тут же угасала неподалеку белым мгновенным росчерком.

И по мере того, как восходило солнце и становилось светлее, все отчетливее, все резче обозначались на серо-лиловом фоне моря и неба гористые контуры островков, странно сошедшихся тут, в воде, как быки для боя, каждый в отдельности - в собственном, строго подчеркнутом кольце обдающего брызгами прибоя.

Таким предстало в то утро Мраморное море, на одном из островов которого она очутилась волею судеб...

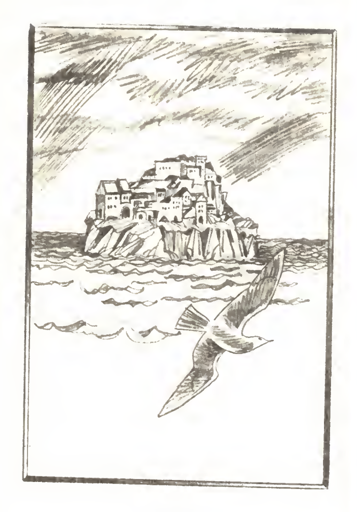
Картину эту дополняли несколько молчаливых чаек, безучастно паривших поутру близ берега, да одинокая рыбацкая лодка, болтавшаяся на зыби вместе с согбенной фигуркой в соломенной шляпе...

И всюду была вода и вода, и ничем не нарушаемая островная тишина, хотя ночью она слышала долгие сигналы встречных кораблей и даже голоса - то турецкие лоцманы что-то сообщали друг другу в мегафоны, усиливающие и искажающие до жути слова средь ночи...

Для нее солнце восходило здесь в первый раз...

Кутаясь в матерчатую шаль и пригреваясь в лучах, она неподвижно сидела, подоткнув полы платья под себя и собрав высокие колени у подбородка. Она была совсем одна в этой своей сжавшейся позе на широкой каменной паперти древней монастырской церкви, обращенной обветшалым, обросшим жестким плющом фасадом прямо к причалу, до которого было всего десяток шагов. Никогда еще она не видела такой церкви - у самого моря. Прибывавшие на молебны, должно быть, со сходней сразу шли в открытые двери к алтарю. И когда поутру зазвонили колокола, то ей довелось услышать редкое сочетание звуков - медный размеренный перезвон, долго плывущий над головой, и упругие удары прибоя у берега.

Остров был довольно тесный из-за гористости, крутости склонов, но тщательно обжитый и застроенный на века еще византийскими мастерами. Все, что здесь было возведено из камня - монастырская крепость, высокие узкие дома под черепичными крышами, восходящие уступами один от одного на гору, и все, что произрастало на здешней кремнистой почве - множество смоквы, густо выбивающейся лиственными купами из-под самых стен, бурая лоза и цветущие кусты олеандра среди камней, - стоило долгого труда и времени. Об этом свидетельствовали прислонившиеся почти вплотную к стенам крепости древние мощноветвистые кедры и



безупречные в собственной собранности кипарисы, - достигавшие высоты почти вровень с церковью. Единственная улочка от пристани переходила в извилистую жесткую тропу, окаймляющую, по всей вероятности, весь остров по окружности.

Пахло морем - йодного духа влагой, а от земли - нагревающимися камнями и листвой деревьев... И еще существовал мул на острове, возможно, один-единственный, чудной и старый. Как заколдованный, он неподвижно стоял неподалеку от пристани с порожними корзинами на спине, притороченными по обе стороны. При нем никого не было. Вот и стоял, бедняга, в ожидании то ли хозяина, то ли какого-то привоза с моря... А иначе зачем было ему тут торчать.

Это и был тот мир, куда она добралась-таки, добрела, дотащила свое бренное тело, положив на то самое жизнь, ибо платой за проделанный путь могла быть лишь цена жизни, поскольку ничем иным, кроме собственной данности, заключенной в себе, и некоторым жизненным опытом, обретенным за недолгий век, она не располагала.

Когда она пришла в Стамбул, у нее оставалась лишь одна вещица - единственная в своем роде старинная нитка жемчуга, которую она несла с собой, чтобы уплатить за переправу через море. Теперь она была свободна и от этого груза. И все, что оставалось позади, все то, что изначально признавалось всеми как безусловный смысл человеческого бытия, и вчера еще не вызывало никаких сомнений в разумности и необходимости такого устроения жизни, все то, что и по ее понятиям являло собой цель существования на земле, все это походило теперь на странный, отталкивающий сон, толь-

ко что минувший, думать, возвращаться к которому даже в мимолетных воспоминаниях не было никакого желания...

Все прошлое было отвергнуто, исключено ею из собственной жизни настолько категорически, что сейчас она не смогла бы ответить себе, с какой стороны объявилась она здесь на острове, точно бы та действительность, что имела место до этого, вовсе перестала существовать по причине ее неприятия, да и не все ли равно это было - прежнее, прошедшее, ушедшее и прочие обозначения того, что начисто отринуто, так же, как не все ли равно, в какой стороне оставался Стамбул - последнее место исхода, где она сумела упросить старого турка-лодочника переправить ее сюда за нитку того самого жемчуга. Отныне всему тому житью был положен безоговорочный, абсолютный конец. Конец во всем, как если бы то была смерть...

И теперь она терпеливо сидела на каменных ступенях у врат в безлюдную церковь, отворяемую только по торжественным случаям, ибо, как поняла она, прислушиваясь к голосам в монастырском дворе, повседневные труды молитвенные совершались, видимо, в специальном помещении, находящемся, должно быть, вблизи монашеских жилищ. Так полагала она, ибо за стенами монастыря еще не была и не стремилась без приглашения проникнуть туда, а потому смиренно ждала решения свой участи.

Внешне она ничем не проявляла тревоги. Знала, и в том была с обреченностью убеждена и согласна, что здесь ее последнее местопребывание на свете. За пределами этого острова она уже ничего не желала для себя... И когда высоко в небе народился неуклонно нарастающий рокот едва различимых самолетов, летящих четкими треугольниками - по три в каждом звене,



неизвестно куда и откуда, она даже не шевельнулась и не подняла головы, как бывало прежде, не побеспокоилась, не полюбопытствовала, ибо то находилось вне острова и потому не имело уже отношения к ней. Так и просидела она, не поднимая лица, а самолеты прошли прямо над островами, истончая силуэты и унося с собой затихающий гул.

Солнце же все выше приподнималось над морем, и воцарилось, наконец, полное утро. Начинался день. Но пока что никто не интересовался ею, если не считать молчаливого, заспанного звонаря, проследовавшего полчаса назад через боковую дверь на колокольню, буркнувшего что-то, должно быть доброе утро, да случайно обнаруженной здесь по прибытии соотечественницы-болгарки, монахини Иванны, которая, как могла, опекала ее, устроив на ночь у привратницы. Утром она привела ее сюда, к церкви, и велела ждать.

А тем временем за глухими стенами монастыря Пречистой Византийской Девы, - так именовалась эта островная обитель невест Христовых, - с раннего утра творилась своя, расписанная из века в век общинная жизнь послушниц. Как всегда и это утро завершилось распоряжениями на день самой настоятельницы - игуменьи Митродоры. То был обычный совет в канцелярии игуменьи по текущим и прочим неотложным делам.

Все указания и наставления на тот день были уже отданы ею, исполнительницы - иеромонахини расходились по службам, когда игуменья Митродора, подняв глаза от бумаг и одновременно откладывая очки в сторону, заметила одну из них - просмонарию Феодору, задержавшуюся в дверях с явно выжидательным выражением на лице.

- Ну, что еще, матушка? - скрывая недовольство, сказала настоятельница, ей очень хотелось остаться в тот час уединенно, дочитать начатую книгу. - Опять что-то не то?

Монахиня просительно помялась в дверях, шагнула поближе:

- Извините, преподобная, но я должна сказать - та странница ждет вашего благоволения.

- Какая странница? Я же сказала еще вчера, что отправьте ее назад. Почему она здесь?

- Знаю, преподобная, и оказия кстати была. Катер почтовый уходил от причала. Но она не вняла нашим словам. Молча смотрит в глаза, как непонятливая или неприсутствующая при себе. Из самой Болгарии добиралась, каково-то - одна в пути, в чужих землях, да молодая... Не от хорошей жизни...

- Ясно, не от хорошей, - вовремя перехватила разговор настоятельница. - Однако же не можем мы собрать всех страждующих на островке нашем. Всему есть предел. А потом, кому ведомо - с именем Господа пришла она душу спасти или переждать непогоду судьбы? Разве не сказано ей, что прибывают к нам, в женский монастырь, прежде списываясь, по согласию нашему, да по просьбе приходов? А кто она, откуда она? Никто ведь не знает...

Старые монахини замолчали. Настоятельница Митродора, потирая нахмуренный лоб и перекладывая бумаги на обширном столе, выжидала, что еще скажет просмонария, она же псаломщица песнопений - человек нужный всегда, просьбу которого не стоило сразу отвергать, но с другой стороны - должна и Феодора понять, что каждый лишний рот - по нынешним временам непозволительная обуза. Война среди государств. И хотя живут они на своем острове

отдельно от всех и не затронуты воюющими сторонами, однако же не на иной планете.

Отсюда и жить труднее изо дня в день. Церкви в смятении на материках - божье слово упало в цене, водовороты войны кружат миром, зато цены на рынках растут и привозы скудеют. Воистину прав был Экклезиаст - никто не остров... А если подумать, что творится на фронтах - каково человеку, однажды пришедшему в жизнь...

Эти думы тяжелили ее взгляд и лицо. Еще пригожая собой - чернобровая, с ясными карими глазами и черным пушком мелкой поросли на верхней губе, слегка полнеющая, статная игуменья была величественна в своей озабоченности. Хмурилась хозяйка монастыря, не решалась с ответом, больше была склонна, чтобы в этот раз избежать лишних забот.

А просмонария Феодора, прямая и сухая, как истая аскетичка, стояла боком, смотрела на море в окно, раздумывая о сказанном.

- Объясняли, говорили мы ей, как же, - она со вздохом обернулась лицом к настоятельнице, продолжая прерванный разговор. - Но вот такое дело. Стоит у монастырских ворот приблудшая душа. Как рассудить - случай это или воля господня? Трудно ведь сказать. Пешком из Болгарии, через Турцию, да по морю...

- Вот то-то, в море мы, а не при дороге разъезжей, - уклончиво промолвила настоятельница, обращая эти слова неизвестно кому, и добавила уже без всякой видимой связи. - Третьего дня немецкие корабли проследовали в Черное море. Сами видели, разглядывали скопом... Пушки расчехлены, и все дула наготове. Страшно становится. Думается мне, подводные лодки снуют взад-вперед и возле нас. В России сокрушение. Кругом война в народах. Самолеты

гудят в небе днем и ночью. Куда грядет мир, известно одному лишь Всевышнему! - потом помолчала, вспомнила, о чем речь, смягчилась лицом. - А ты садись, матушка, что же стоять.

Та присела на край дивана, выжидательно сложив руки и внимательно глядя ей в лицо.

- А кто она сама? В миру кто была? - поинтересовалась игуменья.

- Бывшая учительница.

- Вот как. Звать-то ее как?

- Бахиана.

- Это имя такое?

- Стало быть, так.

- Красивое имя. Не от Баха ли?

- А я и не подумала, - призналась просмонария Феодора. - Очень даже возможно, что так.

- Великий Бах, - игуменья встала из-за стола, перебирая в руках четки на тесьме, прошлась по кабинету, вся в черном облачении с головы до ног, постояла, привычно перекрестившись на купола церкви за окном. - Помню еще в девичестве мессы Баха, какая мощь! - принялась вспоминать она. - Как сейчас слышу, там, в небесах, - и прикрыла глаза, задумалась. И проясняясь тихой улыбкой, мысленно старалась удержать чуть подольше неожиданное воспоминание.

Просмонария Феодора тактично помолчала, сохраняя на лице все то же сосредоточенное, уважительное выражение. Тяжелые сумрачные часы, тикавшие в простенке, напомнили о себе заутробным звоном. И пока они натруженно звонили, исчисляя времени течение, игуменья тоскливо смотрела на край моря, виднеющийся с горы, из бокового окна ее канцелярии. Привычная обширность, пустынность, безлюдие водной

стихии вокруг и мыканье по свету человеческого существа, не уживающегося среди людей, ищущего своего места в мире. Странным показалось ей в тот час это несопоставимое сопоставление. И она поняла, что, как настоятельница монастыря, должна принять решение: куда ее, опять за море?..

- Ну, зови, - сказала она наконец, все еще думая о чем-то своем, - пойди, приведи ее.

Просмонария с благодарностью встала:

- Слушаюсь, преподобная мать.

Когда она направилась к дверям, настоятельница приостановила ее:

- Постой, матушка, а на каком языке говорит она, странница-то ваша?

- На болгарском, конечно. Сдается, турецкий немного знает. И вроде, наш, греческий, понимает, во всяком случае, так мне показалось.

- Ну тогда проси сестру Иванну переводчицей быть.

- Так оно и будет. Сестра Иванна давно тут за дверьми ждет.

Все в той же шали внакидку, Бахиана молча шла, препровождаемая сестрой Иванной, вверх по мощеному монастырскому подворью, ни на чем не задерживая взгляда, точно бы вовсе не впервые очутилась в этой тысячелетней цитадели византийских отшельниц. Сколько их было здесь до нее? Сколькие износили себя по этим мощеным камням? Сколько отчаявшихся, отрекшихся, пошедших наперекор или повинуясь миру в затворении, взывали здесь к Богу, непрестанно твердя: "Услышь меня, Господь!" - и с тем ушедших в Лету?.. И сколько было здесь высказано, выплакано, поведано Суду Его, ибо каждый раз со словами "Услышь меня, Гос-

подь!" рассказывалась новая история в нескончаемой цепи человеческих горестей, обид и несогласий, и всякий раз доводилось до сведения Суда Его такое дело, вопиющей которого не могло быть на свете и о котором должен был знать непременно сам Господь. А иначе как же, иначе куда же податься с плачем и жалобой на земные несправедливости? А иначе где же Праведный Суд, а иначе зачем жить на свете?..

И никакой жизни людской не хватило бы, чтобы только рассказать Ему, сколько зла проистекало на земле всем от всех и каждому от каждого...

Бахиана молча шла, упрямо и горько сжимая губы...

Теперь наступил ее черед отмежеваться от мира для общения с Богом, для затворения во имя этого в монастыре до конца дней своих, до сошествия в Лету...

Она шла, пересекая внутренний дворик игуменской резиденции, приближаясь под мраморным портиком к дверям, за которыми должны были ей сказать, сможет ли она остаться в монастыре. Еще по пути, на море, она перетянула голову широкой белой тряпицей, как лентой, чтобы ветер не трепал волосы. Волос у нее был каштановый, с красноватым оттенком, ниспадающий до плеч густыми волнистыми прядями. Непокорные вихры украшали ее, подчеркивая выпуклый лоб, прямые тонкие черты удлиненного исхудавшего лица, но всегда доставляли лишние хлопоты. Потому и перевязала их, и теперь походила на раненную в голову мятежницу, ведомую в крепость на допрос. Она шла, выпрямившись, собранная, замкнутая, отчужденная для постороннего глаза, но не было в ней сил таких, чтобы сокрыть во взгляде своем жестокую, непроходящую боль, терзавшую ее

изнутри. И от того темные большие глаза ее светились нездоровым, горячим блеском. Печать глубокого, укоренившегося страдания лежала на ее опаленном невзгодами, нервном, подвижном лице. И, однако, было еще нечто такое, что делало ее появление сразу заметным среди одинаково одетых в черное и серое монастырских обитательниц, занятых неспешными повседневными делами. Не только по внешнему виду. Обветрилась до черноты, запылилась, обносилась, ботинки изодрались в пути-дороге. Но и не только это. Она мало походила на скиталицу, на просительницу крова, а напоминала скорей всего гонца, последнего солдата, домчавшегося с перевязанной головой с поля боя, где армия легла и битва проиграна.

И вот он идет, вестник поражения, отмеривая оставшееся расстояние резкими, неверными шагами, идет с пересохшим горлом, идет, как в тумане, как во сне, идет среди озадаченных обывателей, собрав в себе все силы, чтобы не упасть замертво, не дойдя до места, чтобы как можно скорей успеть передать эту горькую новость королю, и на лице его бродят еще сполохи битвы, и все еще чудятся ему крики и топот сражения...

Настоятельница Митродора приняла пришелицу довольно сдержанно, но не сурово. Когда они рассаживались для беседы, старая монахиня сразу поняла, окинув ее наметанным взглядом: "Эта не будет на колени падать и поминать имя Бога всуе. Тут что-то стряслось. Что-то страшное, должно быть. Боже, совсем молодая и недавно еще красивой была. Однако, послушаем..."

Сестра Иванна, хорошо знавшая греческий, но подзабывшая по истечении многих лет родной для нее болгарский язык, вслушивалась

и переводила со всем усердием, не пропуская ни слова, и очень волновалась, как бы Бахиана не забывала, обращаясь к игуменье, величать ее преподобной матерью. За долгие годы пребывания в монастыре для сестры Иванны это утро было самым крупным событием, к которому она имела прямую причастность. За кои-то веки однажды случайная волна житейская прибила к их острову ее соплеменницу-болгарку, и что бы ни было тому причиной, сестра Иванна почитала своим долгом принять посильное участие в устройстве ее судьбы. Это она упросила просмонарию Феодору ходатайствовать о Бахиане перед игуменьей и теперь, оказавшись переводчицей, молила в душе бога, чтобы все образовалось, как можно лучше.

Разговор протекал неспешно, с паузами, с обдумыванием, с выслушиванием ответов.

- Мне сказали, дитя мое, что твое имя Бахиана? - осведомилась для начала игуменья Митродора.

- Да,преподобная мать, мое имя - Бахиана, а фамилия Матенова. Я из Болгарии.

- Знаю, знаю, что из Болгарии. Должно быть, тяжко пришлось в пути?

-Второй месяц добираюсь. Когда я уходила из дома, снег таял у нас в горах. А здесь, можно сказать, уже лето стоит.

- Ты пешком шла?

- Да.

- А что война? Что говорят в народе - пошлет ли Болгария солдат на Восточный фронт?

- Не знаю. Когда я уходила, такого еще не слышно было. А как будет дальше, не могу сказать. Но никто не хотел бы этого, насколько я знаю.

- Ясно, дитя мое. Да минет сия чаша страну твою, много послужившую Византийской церк-

ви. Говорят, в миру ты учительствовала, сколько же тебе лет, дитя мое?

- Двадцать один, вернее, двадцать второй пошел. А учительствовала я в школе первый год, в прогимназии сельской, и вот пришлось покинуть все.

- Что же тебя привело к нам, в обитель сестринства, дитя мое? Призвание ощутила ли к святой жизни или негде стало голову прислонить, или ожесточение нашло такое, или грехи какие угрызают совесть и потребно вымолить прощения затвором от мирских соблазнов? Ведь всякие причины могут быть тому.

Бахиана молча оглядела монахинь. Все трое - игуменья Митродора, просмонария Феодора и сестра Иванна тоже смотрели на нее в ожидании ответа. То был главный вопрос, и всякий вступающий на стезю послушания Богова должен сказать прежде всего себе, ибо нет таинства выше, чем собственная совесть, и, сказав себе, сказать о том Господу и служителям Господа, что же есть его желание отхода в монастырь? То был главный вопрос. Трое монахинь в одинаковых непроницаемо-глухих черных сутанах - только лики и пясти наружу, - молча и мудро смотрели с высоты познаных ими мук аскетизма на ту, которая ничего этого еще не ведала, но желала присоединиться к ним, вступить в их отшельнический орден, но которую еще отделяла от них незримая черта великого греховного мира, откуда явилась она то ли изгоем, то ли вызовом другим, то ли преступная, то ли еще по какой-либо особой причине. Об этом требовалось теперь сказать ей самой.

Бахиана медленно опустила взор, как бы ушла в себя, позабыв на мгновение о присутствующих, и сразу бросилась в глаза ее худоба -

длинная шея, выступающие ключицы, мрак, усталость на лице. Матерчатая шаль, обвисшая на узких плечах, напоминала поникшие крылья выбившейся из сил птицы. Видя ее затруднение, настоятельница решила помочь ей:

- Скажи ей, - велела она сестре Иванне, - скажи, сестра Иванна, что посвящение себя монашеской схиме есть тяжкое испытание наше в любви, в преданности всеповинующейся самому Господу. Ни в чем не принадлежать себе, а во всем - и духом, и плотью - только Ему, только идее Его нетленной, только образу Его светоносному. Сказала? Все точно донесла? А теперь передай. Вот, скажем, Бахиана, ты пришла к нам. Мы не вправе открывать тебе ворот, пока не узнаем, кто ты и что ты есть. Смотрю я на тебя, ты совсем юная. И думаю, давай уж сразу будем откровенны, учти, с нами не знать тебе ни любви, ни разлук, ни материнства. Эти вещи абсолютно исключаются из монашеской жизни, ибо они мешают безраздельной преданности нашей идее Христа. И не всякому дано одолеть себя, возвыситься, лишиться благ мирских и удовольствий телесных. На то мы люди. На то дана нам воля прежде подумать. Бывает, что обстоятельства чрезвычайные побуждают однажды человека к отречению и кажется ему, что ничто на свете не вернет его в опостылевший мир. Но потом, опять же все мы люди и слабости наши известны, прости нас Господи, поулягутся страсти, притупится отчаяние, и обнаружится нетвердость помысла - кается человек втайне, терзается, тяготится воздержанием, взятым на себя, и, случается, впадает в грех раздвоения, неискренности перед собой и Богом, и это страшно. А потому высшая добродетель в нашей среде - когда человек принимает обет послуша-

ния по чистому убеждению, по наитию божескому. Хотя, конечно, всякие мотивы могут быть к отходу в монастырь. Никакие из них не возбраняются. Важна не причина, а следствие. Вот и желательно было знать, дитя мое, Бахиана, что повлияло или что принудило тебя к этому действию. Ведь неспроста же все это.

- Я понимаю, - вздохнула Бахиана, собираясь с ответом, - но есть одно "но", - сказала она, подумав, и отозвалась затем приглушенно, как бы возвращаясь мыслью издалека. - Извините, что заставила вас ждать. Я ведь знала, что мне предстоит ответить на этот вопрос. Да, знала, - продолжала она. - И у меня было достаточно времени, чтобы подумать обо всем этом и быть готовой. По пути сюда я прошла земли и народы. По-всякому приходилось. Но я выжила. И лишь укрепилась в своем решении удалиться в монастырь. Конечно, вы правы, преподобная мать, действительно, высшая благодать, когда обет возлагаешь из веры в идею, из чистых убеждений, как вы говорили. Я же к своему убеждению пришла иным путем - из отрицания. Я пришла из пустыни, и потому я здесь. Я понимаю, этого объяснения недостаточно. Очень мне хотелось бы сполна рассказать вам, как и что привело меня сюда. Но я не могу этого сделать. Не потому, что хотела бы о чем-то умолчать, не затрагивать того, что касалось бы моей совести. Нет, не поэтому. Когда я покидала отчий край, мне казалось, что ничто меня уже не связывает, ничто не обязывает ни перед кем. Должно быть, не сразу обрываются нити прошлого. Потребуется какое-то время, и я еще поборюсь с собой. А пока я не вправе открывать то, что не должно быть сейчас открыто. Простите меня, преподобная мать, я не вправе сказать большего. Если

мое объяснение не убеждает, я не в обиде. Я пойму. Я уже благодарна за эти минуты общения. Вам решать. Одно могу сказать о себе: я не случайно оказалась здесь - вижу в том исход судьбы своей - возможно, на роду мне так написано, я буду верной, неотступной послушницей среди вас. Призвание и прибежище хочу найти в Боге, и если смогу - смысл своего существования во времени и пространстве. Иного дела жизни я теперь не представляю себе. С тем и явилась к вам...

Монахини очень внимательно слушали Бахиану. Ждали, что ответит настоятельница.

- Ну, что ж, слова твои не лишены разумности, - признала игуменья Митродора, немало удивленная вместе с тем услышанным, ибо никогда еще не сталкивалась она с подобным случаем. Обычно жаждущие попасть в монастырь сами первым делом рассказывают всегда со слезами, с излишними подробностями историю своей невыносимой жизни. И это выдвигается ими главным аргументом отречения от мира.

"А тут что-то другое, что заключается в ней, в ее словах, как вкус горечи в кристалле соли, - думала по ходу разговора многоопытная игуменья. - А ведь совсем молодая, отроковица, можно сказать. Прежде чем прибыть к нам, решала ведь - быть или не быть. Несчастная. Много потребовалось ей сил. Не так просто далось ей решиться. Надо помочь ей устоять на ногах. И все же неспроста ее появление. Может оказаться, совсем неспроста. Странно, что я так думаю..."

- Мы верим тебе, дитя мое, и нет никаких оснований сомневаться в твоей искренности, - говорила в ответ настоятельница. - Подробно расскажешь ли о своей жизни или намеком, или

вовсе сочтешь не касаться этой темы - дело твое. Настаивать никто не вправе. Каждый волен сам решать, как ему поступить. И если на то пошло, скажу тебе, Бахиана, у тебя еще будет время подумать, поразмыслить, что к чему. Как рассудят сестры на совете - захотят оставить тебя в нашей обители, - у тебя до пострижения будет свобода выбора, испытаешь себя, можешь в любое время покинуть монастырь, если не найдешь смысла в житие новом. Время на испытание у тебя будет , будет у тебя и духовный отец, - куратор наш - святой отец Иов, что навещает нас из Константинополя, ему на исповеди можешь открыться, если опять же сочтешь нужным. Тебе лучше знать, когда и что сказать. Никакого принуждения на этот счет - потому, как по доброте своей, не знающий границ, Всеблагий оставил нам свободу совести. Нелегкое людское свойство наше возвел Он к неприкосновенным принципам. Потому хвала и слава Ему во храмах и за стенами храмов за великодушие , простершееся на все времена вперед, - она остановилась, собираясь с мыслями, должно быть, очень важными для нее и добавила затем, - оттого и вечное борение наше - всякий раз совесть отстранить желаем от свободы и всякий раз вопием и гневаемся, и вступаемся за нее. И так всегда. А исповедь духовная на то, чтобы согласовать принцип с совестью самой. Я говорю это, чтобы ты была спокойна, Бахиана. - Игуменья сама удивлялась тому, что испытывала желание говорить столь охотно и пространно и была довольна разговором, угадывая внутренне, что пришелица достойна этого, хоть и молода собою. - А теперь скажи мне, дитя мое, поскольку разговор наш должен быть продолжен, откуда тебе стало

известно про обитель нашу скромную и почему ты решила обратить стопы свои именно к нам на далекий остров среди моря?

Монахини почувствовали, как , переборов себя, Бахиана подыскивала слова:

- Видите ли, к вам хотел добраться один человек, - пояснила она, прикусывая губы, - но ему не суждено оказалось прибыть. А я знала о его намерении и попыталась ему помочь в его замысле. Отсюда мне было известно, примерно, как лежит путь. Я знала, что остров этот называется по-турецки Чешме-Ада, Родниковый остров.

- Да, Чешме-Ада. А где же теперь тот человек?

- Он не может прибыть. Он никогда здесь не будет.

- Кто этот человек - женщина или мужчина?

- Мужчина.

- Странно, - подивилась настоятельница, - что ему могло понадобиться в женском монастыре?

Бахиана промолчала, это несколько насторожило игуменью:

- Так ты добиралась сюда, возможно, что-то сказать, что-то передать или... прости меня, допустим, что-то иметь за это? Если так, не скрывай.

- Нет,преподобная мать. Ни то, ни другое. Мне нечего ни сказать, ни передать, я сама по себе и тем более нечего иметь. Я никогда ничего не буду иметь. От этого я свободна.

Монахини молча переглядывались. Разговор приобретал заинтересованный для них характер. В этот момент в дверях показалась трапезница монастыря, видимо, по какому-то делу к настоятельнице. Но та не стала даже ее выслушивать, отправила назад:

- Не сейчас, потом, потом придешь.

И когда трапезарка ушла, игуменья снова обратилась к Бахиане:

- Скажи мне, дитя мое, ведь ты могла скрыть намерение того человека, не так ли?

- Простите, преподобная мать, что вы имеете в виду?

- Ничего особенного. Просто для уяснения. Ведь ты же могла не говорить нам о намерении того человека, собиравшегося сюда?

- Нет, не могла бы скрыть. Я бы здесь не появилась, если бы не тот человек.

- Стало быть, в этом не кроется ничего недосказанного, кроме благих пожеланий посетить наш монастырь, так ли я понимаю?

- Да, так, - подтвердила Бахиана. - В этом нет ничего недосказанного, напротив, я бы сказала, все исчерпано в определенном смысле. У человека было такое желание, а теперь его нет. Вот и все. Я же сама по себе.

Игуменью все же что-то беспокоило, и она даже спросила у сестры Иванны:

- Ты уверена, ты все точно переводишь?

- Все точно, преподобная мать, - заверила сестра Иванна. - Слово в слово. Как сказано, так и я.

Наступила некоторая пауза перед завершением разговора.

- Я надеюсь, наши сестры не откажут тебе, дитя мое, в крове и союзе монашеском, - сочувственно говорила настоятельница. - Если быть по тому, поживешь, присмотришься. Сдается мне, Бахиана, ты могла бы в нашей монастырской библиотеке поработать. Богатая у нас библиотека. Богословие, философия, история от византийских времен. Есть для ознакомления и эллинские сочинения.

- И на болгарском языке существуют такие книги?

- Да, и на болгарском. Но главный - греческий. И вообще - работы много с книгами. А теперь, дочь моя, ответь на несколько прямых вопросов, которые требуют прямых ответов. Скажи мне, была ли ты замужем?

- Нет, помолвлена была, но слово взяла назад.

- А теперь, извини меня, я должна знать, не несешь ли ты в себе зачатия? Пойми, у нас монастырь.

- Нет, преподобная мать. К сожалению, нет. И к сожалению, никогда не быть тому.

- Я понимаю тебя. Но таков обет наш и зарок наш изначальный перед Господом.

Бахиана понимающе склонила голову.

- Не оставила ли ты больных или сирот без попечения?

- Нет,преподобная мать. Родителей давно лишилась. Близких людей тоже не осталось. Я одна.

- Не больна ли ты, не страдаешь ли недугом каким?

- Нет, я здорова и не помню, чтобы когда-либо болела.

- Ну и слава богу. В таком случае, дочь моя Бахиана, - продолжала игуменья Митродора, приближая разговор к концу. - Не на этой, так на той неделе ты узнаешь мнение сестер о твоем пребывании в монастыре, надеюсь, оно будет положительным. Не так ли, сестры мои? - обратилась она к Феодоре и Иванне.

Сестра Иванна - ясное дело - сразу закивала головой, а просмонария Феодора сказала:

- Я молча слушала весь разговор, я с самого начала была за то, чтобы принять Бахиану в наше сестринство, - объявила она. - Чует мое сердце, есть на то провидение - здесь ее место, и, надеюсь, быть ей верной невестой Христовой.

Под конец игуменья совсем по-матерински расположилась к страннице, которую вчера еще хотела было отправить назад:

- Иди, дитя мое, устраивайся, отдохни, приведи себя в порядок, - говорила она Бахиане, провожая ее до дверей. - На первых порах будешь носить серую сутану иноковицы. Так положено, а когда доживем до пострижения, до торжества самоотречения нашего во имя Господа, будешь возведена в истинные монахини и обрядишься в черное, как мы. Вот тогда и имя твое преобразуем согласно церковным правилам. Так-то, должно быть. Но смотрю я, ты хотела бы сохранить собственное имя? По глазам вижу, говори, не стесняйся.

- Да, преподобная мать, впредь одна-единственная просьба - пусть уж я буду с тем именем, с которым я сюда прибыла.

- Стоит подумать. Возможно, ты и права, Бахиана.

Мне тоже нравится твое имя, хотя оно и не христианского толка. Никак родители музыкальными людьми были?

- Как вам сказать, не то чтобы музыкальными, но оба они любили музыку. Отец был моряком, капитаном торгового судна, погиб при кораблекрушении. И мать вскоре умерла. Самое лучшее воспоминание о них, я еще маленькой была, как мы ездили однажды в Германию. Все время по соборам ходили, слушали орган.

- Вот то-то, не случайно значит. А насчет имени не беспокойся, всегда бывают исключения из правил. А пока живи, присматривайся, изучай нашу схиму. А там дело решится. Придет день, и придет решение. Мы тебе только в помощь...

Уже выйдя от настоятельницы, Бахиана почувствовала вдруг странное желание вернуться,

обнять старую игуменью и громко расплакаться у нее на груди, освободить душу - рассказать все как было и что произошло и затем умереть на месте, просто перестать существовать, исчезнуть, как дым, чтобы не знать себя, чтобы быть неуязвимой никаким горестям и страданиям. Как она того хотела!..



ПОЭТ ЧИНГИЗ И ЧИНГИСХАН

"Повесть к роману" - так обозначен Айтматовым жанр "Белого облака Чингисхана". Имеется в виду роман "И дольше века длится день" (или "Буранный полустанок"). Он писался в конце 70-х годов и был напечатан в "Новом мире" в 1980. Но как пишет автор в предуведомлении: "Не стану рассказывать, почему этого текста не было в первоначальном варианте в пору идеологического диктата, когда всевидящие цензоры и разного рода "мнения сверху" решали участь произведения в административном порядке. Нередко приходилось ради прохождения книги "в целом" соглашаться на наименьшее из зол, чтобы, образно говоря, не перегрузить корабль , идущий к читательским берегам в жестокий шторм. Далеко не всегда удавалось "допеть недопетую песню". Но вот такая возможность представилась. И я предлагаю... эту часть моего старого "нового"романа".

Да, это чудеса и парадоксы нашей абсурдной литературной жизни. Произведения не могут публиковаться в свое время так, как были написаны автором, по вдохновению и мастерству, но, будучи окончены, поступали на станок редакторам и цензорам и там всячески обрубались на Прокрустовом ложе. А и то верно, что, предвидя такую своему детищу казнь немину-

чую и дыбу, автор уже в процессе сочинения впускал в душу и мозг "внутреннего редактора", что хватал его мысль на корню и за руку перед написанием слова - и сигнализировал: "нет! это не пройдет!" - и парализовал творческий процесс, изранивая его изначально.

Конечно, все равно поток живого творчества пробивал эти препоны, но - с увечьями. А иные вообще отчаивались писать для печати и писали "в стол", абсолютно.

Так что каждое почти яркое произведение прежних лет надо бы переиздавать ныне "в расширенном и ВОССТАНОВЛЕННОМ (-реабилитированном, воскрешенном) виде". Вот и роман Айтматова теперь может восполниться притоком этой повести и стать богаче содержанием.

Что же могло привести в ярость цензоров 1980 года в этом тексте Айтматова? И так-то линия Абуталипа, доноса на него и ареста, тогда, в годы самого крутого "застоя", когда не принято было и вспоминать о сталинских репрессиях, поразила взрывчатой смелостью; но, конечно, ее продолжение: пытки в застенках, мечты чекиста сварганить крупное дельце для взлета карьеры своей, самоубийство Абуталипа - это превосходило все "допуски" цензурности тех лет. Сама же легенда-миф о Белом облаке Чингисхана, кажется, могла бы "пройти"... Но тут уже мог вступить сам авторский отбор и вкус: тогда бы роман стал перегружен легендарно-мифологическим материалом-слоем: ведь там уже сколько преданий: о манкуртах, о певце Раймалы-аге и аканше Бегимай... Правда, и "Дон Кихот" - составной формы, и "Вильгельм Мейстер", и "Братья Карамазовы": все впускают "вставные новеллы" и легенды. Так что место бы нашлось и этой легенде в

тогдашнем романе и состоял бы он уже почти из равномерных массивов: слой земно-человеческий, где Едигей и Абуталип и наша жизнь, и слой сверхидей, мифов, метафизический. Так, в "Илиаде" параллельно чередуются события на земле, в войсках ахеан и троянцев - и на Олимпе, среди богов. Это параллельное ведение пластов бытия, ноуменов и феноменов присуще эпосу большого стиля, какой и создал в романе "И дольше века длится день" Чингиз Айтматов. Так что и это предание о Чингисхане вполне могло б войти и в тогдашний вариант, будь оно тогда написано (а не лишь замыслено - и оставлено...). Какое-то писательское чутье подсказывает мне, что написано это потом, недавно. Да и линия Абуталипа - так, как она уже в "повести к роману" развита, - написана (сдается мне) затем...

Так что я склонен на предлежащий чтению читателя текст смотреть не как на вставку к прежнему, а как на САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ, по своему стройно скомпонованное и завершенное. Здесь ясно улавливается "простая трехчастная форма" (как это в музыке именуется): линия Абуталипа с чекистом в начале и в репризе, а посредине - легенда. Цементирует же сакральная фраза, что спаивает уже с романом: "Поезда в этих краях шли с запада на восток и с востока на запад..." Она и в романе часто начинает главы, и тут. И в ней, кроме дыхания Сарозекских просторов, есть и метафизический смысл: как бы обратимость времени, поворачиваемость истории - в вечность, в миф, что и происходит в тексте. Ею как бы "оправдывается" вспятное устремление думы автора: от жгучей современности - в поле сверхидей, где сути и замыслы бытия и Бога о человеке, что скорее схватывается мифом -

народным или рукотворным, авторским, которые сочинять мастер - Чингиз Айтматов...

Так что - да простит мне автор, Чингиз Айтматов, - но я склонен полагать, что настоящая "повесть к роману" написана им отдельно от романа "Буранный полустанок" и имеет все приметы самостоятельного художественного организма. И это-то и очень хорошо. Хотя и можно ее, конечно, как кассету, вдвинуть и в текст романа - есть там зацепки и пригонки для стыковки... И разбирать я ее стану не в соотношении с романом, а как самостоятельное художественное явление...

- А как же тогда авторское предуведомление, - спросит читатель, - где писатель говорит о препонах тех лет, по каким не мог он полностью реализовать свой творческий замысел; что ж это, морочит он нас?.. - И да, и нет. Конечно, правда, что он мог "наступить на горло собственной песне" (как это Маяковский пророчил советским писателям сию операцию самоудушения) в предвидении нереализуемости из-за драконовских условий того времени... Но также и КАК ПРИЕМ условный, писательский можно воспринять это обращение к читателю - на тех же правах, на каких Лермонтов предваряет своего "Героя" объяснением с читателем; или как писатели уверяют, что все, что тут будет, - истинная правда; а другие - наоборот: что все имена вымышлены, и прячутся за право вымысла, право на обобщение, чтобы не принялись читатели "ДОСТАВАТЬ" автора письмами и привлечением в суд за "оскорбление" их родича или профессии. Так еще Гоголь объяснялся, что писателю нельзя изобразить чиновника иль офицера, чтоб не обрушилось на него все сословие с обвинением в оскорблении их чести...

В нашей же дивной ситуации - новый вариант, новаторский открывается по сравнению с подобными прежними обращениями авторов к читателям. Писатель, чтоб заинтриговать своего читателя, акцентирует, что это все было написано ТОГДА, КОГДА ЭТОГО БЫЛО НЕЛЬЗЯ писать... А так ли это на самом деле, или прием-поза-амплуа творческое, - пойди-разберись!.. Потому что поверхностный читатель, привыкший к стилю нынешней обличительной публицистики, когда все более наддают жару разоблачений и ныне уж этим не удивишь, - может разочарованно отойти прочь от текста: мол, а! это теперь написано, когда стало разрешено-можно и все про такое пишут!.. Так что автор может и выкинуть таковым кость: нате вам - это еще ТОГДА написано!..

Но для серьезного, художественного читателя, это не имеет значения. И мне, например, даже по душе бы такое "обмороченье" дешевого читаки писателем.

Ну а за сим - приступим. "Теперь - сходитесь!" - читатель-критик и писатель. Напоминаю, что стану рассматривать - как самостоятельное произведение.

Относительно самостоятельное. Ибо, конечно, линия Абуталипа сама по себе не вполне понятна будет без вписанности в события романа. Но он здесь - да и вообще - малоинтересен: персонаж без внутренней проблемы, просто объект сострадания. Нов здесь образ чекиста Тансыкбаева - этого охотника на души и жизни. Пир этих бесов по случаю окончания очередного крупного дела против "буржуазных националистов" в Средней Азии. И как когорта избранных преторианцев, причтенных к мистерии государственной тайны, собирается на банкет с икрами и люстрами, с тостами и осами грозных слов -

против врагов и за Сталина. "И слова эти, самовоспроизводясь и умножаясь, долго еще кружились над головами собравшихся, накопляя в себе скрытый гнев и ярость, как рой распаленных диких ос, все более озлобляющихся оттого, что они ядоносны и их много" ("Знамя", 1990, N8, с.13).

Вот оптика Айтматова в описании события и человека. Шикарное застолье нуворишей, "из грязи в князи" людей, и их примитивная психика, с одной стороны и на одном уровне воспроизводится через внутренний монолог, думы Тансыкбаева, майора еще только завистливого к успеху "коллеги", погодите! он еще сварганит такое дельце из Абуталипа - о разветвленной сети англо-югославских шпионов с интеллигентами в СССР, что от зависти подохнете и следующий банкет буду уж я проводить! А с другой стороны, надземным зрением все это наше созерцается как бы из стана богов: тут вот слова ядовитые приведены к рою ос; а в "Буранном полустанке" - "мышкующая лисица" в начале; а потом коршун с неба наблюдает за похоронным шествием - и отстраняются так наши внутрилюдские о себе понятия нездешним оком - животных, стихий, идей, легенд...

"Для постоянного накала борьбы, - идут размышления на банкете, среди "рафинированного комфорта" трофейных немецких сервизов, - нужны были все новые и новые объекты, новые направления разоблачений; поскольку многое в этом смысле было уже отработано, едва ли не исчерпано до дна, вплоть до депортации целых народов в погибельные ссылки в Сибирь и Среднюю Азию, то стало все труднее собирать "поголовный" урожай с полей, прибегая на старый лад к обвинениям в наиболее ходовом на

национальных окраинах варианте - в буржуазно-феодальном национализме" (с.13).

Тут два образа: выработанная шахта и урожай с полей. И очень объясняют они психику непонятного племени "чекистов", уничтожителей страны и народа. Кроме того, что мы все, наивные и профанические люди, роем шахты и сеем хлеб, - мы, каждый из нас, наша душа и жизнь становятся в свою очередь сырьем и шахтой, рудником и полем, с которого "ловцы человеков", посвященные в кесаревы мистерии Власти и Государственной Тайны, собирают свой уголек и урожай - как просто мастеровые. И наши им стоны и ахи и крики - все равно, что скрип угля о сланец или падение срезанного колоса. Мы друг другу трансцендентны. Они - повара из нас, как сырья и снеди: "Тансыкбаев... все более убеждался, что это скромное, на первый взгляд, дело (Абуталипа - Г.Г.) при соответствующей обработке может обрести достаточную весомость" (с.13). Кулинары! Ну и - охотники... Последний образ меня наиболее приблизил, объяснил и "примирил" с этим родом-профессией. У них психология охотников. Как охотник истекает вожделением, подстерегая зайца, вальдшнепа иль лося, так и эти, охотясь в зарослях городов и сел, фабрик и книг - на ДИЧЬ вражески-идеологическую, никаких угрызений не испытывают, "шпокая" или "приводя в исполнение", "пуская в расход" - как и тот, кто удачным попаданием влет валит утку. Так ведь и гуманист Тургенев делал, и христианин Толстой...

Тут главное - чувствовать себя существами разной породы, непереходимыми, трансцендентными друг друг: тогда боль жертвы не переходит, непереводима на душу охотника. Если Сталин как-то объявил человека "винтиком", то

чекист видит человеков - как дрова. "Что может быть выше государственных интересов? - рассуждает наш жрец, авгур, посвященный в таинство Бога-Власти чекист. - Иные думают - жизнь людская. Чудаки! Государство - это печь, которая горит только на одних дровах - на людских. А иначе эта печь заглохнет, потухнет. И надобности в ней не будет. Но те же люди не могут существовать без государства. Сами себе устраивают сожжение. А кочегары обязаны подавать дрова. И на том все стоит"(с.15).

Да, но этим же ходом отстраняется и сам Кесарь - властитель Чингисхан в легенде. Его армия движется "под изрыгающими пламя драконовыми знаменами" (с.19). И когда доложили ему, что вопреки его строжайшему запрету, в обозе его армии одна женщина родила, Чингисхан "был крайне удивлен, что роженицей оказалась вышивальшица знамен, поскольку никогда прежде не приходило ему в голову, что кто-то этим занимается, кто-то кроит и вышивает его золотые стяги, так же как не думал он о том, что кто-то тачает ему сапоги или сооружает очередные юрты, под куполом которых протекала его жизнь. Не думалось прежде о таких мелочах. Да и с чего бы, разве знамена не существовали сами по себе, рядом с ним и в его войске повсюду, возникая, как загодя разводимые костры, раньше, чем появлялся он сам..." (с.34).

Бытие опричь Кесаря вдруг открывается взору ума властителя: бытие, рожающее, трудовое, производящее, чему он вторичен, на готовое приходит, - и то-то может себе позволить сатанинскую роскошь перетасовывать, переорганизовывать, отнимать, разрушать...

И это-то, первичное, наиболее дразнит Кесаря - как само собой, без его повеления существу-

ющее и творящее: рожание, производство - самотек! неуправляемость: самоволя, самочин, самогон и самосад? Как так можно? И вот - социализм-тоталитаризм всеохватный: плановое хозяйство и трудармии изобрел - и так Государство поставило себя у корня труда, производства, экономики: ничего без его воли!

Чингисхан в легенде Айтматова - другой источник самотека и самоволи перекрыть решился: "категорически запретить женщинам, следующим в обозах за войском, рожать детей до победоносного завершения Западного похода (-до завершения строительства комунизма! - перевели бы мы на нашу ситуацию. - Г.Г.)... Даже законы естества отвергал Чингисхан ради военных побед, - морализирует писатель-рапсод, - кощунствуя над самой жизнью и над Богом. Он хотел и Бога поставить себе на службу, ибо зачатие есть весть от Бога.

И никто ни в народе, ни в армии не воспротивился..." (с.20).

Да, регулировать-управлять даже в области Эроса давно замахивались и Кесарь, и Логос, логика, - с общим для них принципом: "разделяй - и властвуй!" И у Платона в "Государстве", и у Томмазо Компанеллы в "Городе солнца", и у Фурье, и вообще у всех утопистов и прожектеров переорганизации жизни не на "дедовых началах" Природы и Бога, но планируя разумно, подбирая пары подходящие и выводя породы (как "арийцев" в расизме национал-социализма)... В этом смысле марксизм-ленинизм как-то отстал, не имея своей разработанной программы на этот счет; разве что освободить женщину от "уз" брака и дать кухарке управлять государством...Но наш "социализм" косвенно вторгся в эту область - через руководство трудом: отдирая крестьян от земли

и мужей от жен - в лагеря и в армии, перерезал-таки пуповину естественного деторождения, так что мы в итоге векового властвования - и с разоренным хозяйством, и с населением на грани вырождения.

Так что безумный запрет Чингисхана вполне логичен в понятиях Князя мира сего, Противо-Бога, ипостасью которого выступает во истории то один, то другой изверг рода человеческого. При этом у каждого такого сверхчеловека есть своя рана и язва на этом поприще - любовном, сексуальном, за которую он и мстит всему миру:люду, природе и Богу. И у Сталина, и у Гитлера тут ненормальности отмечены, а Чингисхан на всю жизнь ранен тем, как умыкнули его молодую жену Бортэ меркиты, племя соседнее, и, видно, воспользовались там ее благовонным лоном, так что неуверен он и в первенце своем...

Мы должны понимать: в сущности-то своей тиран - самый природно несчастный и Богом обделенный человек (обделен он и Любовью и Совестью) - и оттого ввинчивается на отмщение бытию. Деспот - всегда неумерен, посягает не просто на людей, но и на строй бытия, на космос, на Красоту, на Природу и Бога.

Так что и обратно: справится с деспотом можно не свержением его, а - подослав женщину, пробудив любовь-человечность, а с тем и себя человеком почувствует, и сострадание к ближним познать сможет, и нравственность и совесть в нем пробудятся... И станет он благой правитель... Это еще древние иудеи поняли по-своему, подсылая своих прекрасных женщин в стан к вражескому полководцу (Юдифь и Эсфирь...) и так побеждая противников...

В легенде про Чингисхана как последний остаток человечности, нежности, женственно-

сти даже во Владыке - это нежное Белое облачко, что по прорицанию, сопутствует движению его армии, словно благословляя, как некая видная лишь Богу, Природе и Уму Повелителя последняя интимная связь между ними. Как последний пунктир царствия небесного внутри его души, след незагасшего образа Божия. Так в нашем Сатаналине - неравнодушие к литературе: сам ведь стихи писывал...

Ну а на другом полюсе - Бога и Природы, какие ж из человека силы и способности остаются, скапливаются - в том страшном разделении на центрифуге социума под властью Кесаря? Это - Личность, Любовь, Творчество.

Вот и в нашей легенде кто воспротивился, отчего? А - Любовь! Но не безличная похоть, а индивидуально-личностная, самочинная семья между сотником Эрдене из ближайшего окружения Чингисхана и вышивальщицей знамен с изображением дракона - Догуланг. То есть она - как дева Феврония русских преданий: сверхмирно одаренная творческая душа. - "Ты мой дракон, - говорит она возлюбленному. - Я вышиваю на знаменах драконов. Никто не знает - это все ты. На всех знаменах моих - это ты. Бывает, и во сне его вижу, во сне вышиваю дракона, он оживает, и, ты только не смейся, я обнимаю его во сне, и мы соединяемся, и мы летим, дракон меня уносит, и я с ним улетаю, и в самое сладкое мгновение оказывается - это ты. Ты со мной во сне - то дракон, то человек... Ты мой огненный дракон... И теперь, выходит, я родила от дракона" (с. 29).

Любовь девы с являющимся ей во сне Огненным змеем в мифах и сказках разных народов давно уже объяснена психоаналитиками как образ и субститут страстного соития. Известно это, бесспорно, и нашему писателю, и что-то

слишком уж толково изъясняется на этот счет героиня легенды - как будто прочитала психоаналитические трактаты Фрейда и Юнга... Вообще некоторый рационалистический нажим продуманной сделанности ощущается в последнем творении Айтматова...

Итак, возлюбленная - она ж художница. И именно душу и личность свою и возлюбленного вплетает неистребимо в должные быть сугубо государственно-безличными символы власти - в знамена побед! Так что, не ведая того, Повелитель Четырех Стран Света - все равно в лоне Бога и Природы, окружен и обволокнут, и все его амбиции мироуправления равны, по сравнению Толстого, амбициям мальчика править каретою, дергая за тесемочки внутри ее створок.

Этот сущностный анализ очень важен. Ибо снаружи, на поверхности, Повелитель всесилен и все ему подчинены: несметные массы тел воинов, и коней, и обозов... Но это все - "феномены", т.е. не смыслы, не решающие, функции... А вот аргументы и ноумены - это те сверхсути, на уровне которых я веду анализ, и те отдельные одинокие личности из этих масс, которые слышат голос этих сутей и для кого он оказывается роднее и ближе и властнее, нежели повеления Владыки будто мира...

Потому-то и возможен напрямую союз Сверхидеи (что выражена в легенде Белым облачком) и двух человеческих атомов. И когда совершилась Сарозекская казнь над ними в назидание всем, - облако отвернулось, истаяло, перестало осенять Чингисхана, и он, прочитав в этом отворот Неба от него, прекратил поход и повернул армию вспять...

В том, как совершилась эта казнь, - тоже притча и знаменательные нам подсказы... Догу-

ланг ведут на казнь перед строем войска и требуют, чтобы она выдала, от кого ребенок:

" - Не помню, от кого. Это было давно и далеко отсюда, - отвечала вышивальщица.

Над степью прокатился грубый утробный мужской хохот и злорадный женский визг...

- Так выходит, как понимать, - на базаре где приспособилась, что ли?

- Да, на базаре! - вызывающе ответила Догуланг.

- Торговец или скиталец? А может быть, вор базарный?

- Не знаю, торговец или скиталец, или вор базарный, - повторила Догуланг.

И опять взрыв хохота и визг.

- А какая ей разница, что торговец, что скиталец или вор - самое главное на базаре этим делом заняться!

И тут неожиданно в рядах воинов раздался чей-то голос.

Кто-то сильно и громко крикнул:

- Это я - отец ребенка! Да, это я, если хотите знать!

И все разом стихли, все разом оцепенели - кто же это? Кто это откликнулся на зов смерти в последнюю минуту, навсегда уносившую с собой не выданную вышивальщицей тайну?

И все поразились: пришпоривая своего звездолобого коня, из рядов выехал вперед сотник Эрдене...

...Дойдя до своей возлюбленной, приготовленной к казни, сотник Эрдене упал перед ней на колени и обнял ее, а она положила руки на его голову, и они замерли, вновь соединившись перед лицом смерти" (с. 41-42)...

...А ведь плачу, утираю слезы, перепечатывая эту сцену.

Тут взрыв и торжество всего прекрасного, что есть в человеке: все слилось - и осилило Сатану и Смерть. И что же это за силы? Любовь - и Совесть! Они - на последнем пределе - суть человека образуют и сказывают... Терпел сотник в рядах войска, пока вели его возлюбленную и отрывали младенца от ее груди. Но когда стали поносить ее - как "шлюху", оскорбляя в ней (и в нем) Личность и образ Божий, - к Любви к ней и состраданию присоединился в его душе голос человеческого достоинства, что держится - на Совести. И он - вышел и сказал...

Тут вспоминается нравственный эксперимент, что предложил человеку Достоевский в "Сне смешного человека". Представь, что ты совершил где-нибудь, на Луне, например, какой-то омерзительный поступок, и вот оказался на другой планете - с гарантией, что никогда никто про это не узнает, - каково б тебе было ?..

Так вот Совесть говорит: тысячекрат невыносимее, чем даже коли б суд людской про это прознал и осудил...

Так и здесь: еще мгновение - и тайна унесена будет навсегда... И тут именно взрыв Совести в человеке совершается, превозмогающий все - и смерть.

И тут еще важны - ИМЕНА. Память и честь. "И, удерживая Акджулдуза на месте, снова повторил громко, оборачиваясь на стременах к толпе:

- Да, это я! Это мой сын! Имя моего сына - Кунан! Мать моего сына зовут Догуланг! А я сотник Эрдене!" (с.42).

Прямо по евангельскому слову: не радейте о земном, а чтобы имена ваши были написаны на небесах. И вот наш герой их пишет последним

словом-выкриком - в небо... И их внемлет, бесспорно, то Белое облачко...

И их повесили на одной веревке, перекинутой через межгорбие верблюда, что в пустыне и роль виселицы исполняет...

А что же дитя, младенец-сосунок? Он остался на руках прислужницы Алтун, старой женщины; и ушло войско и обозы, и спустилась ночь в пустыне, и нет никого, и она мечется в отчаянии. Ребенок плачет, и чтоб успокоить его хоть как-то, она сунула ему сосок своей ветхой груди - и ребенок затих... И - о чудо! Из ее грудей потекло молоко!.. Белое - как то облачко! Оно покинуло Чингисхана, Кесаря, и благодать Неба взгнездилась в струю Жизни... Не он теперь, Кесарь, - Сын Неба, а вот новорожденный всякий младенец!..

Так не пропали и у нас, в нашей жуткой истории, сироты-дети "врагов народа", но все находились сердобольные души, что подбирали, поднимали на ноги...

Конечно, главная проблема "повести к роману": КАК ЖИТЬ В УСЛОВИЯХ ТОТАЛА? Когда неправедная власть покрыла все и оцепенила? Конечно: уходить - в безбрежность опричь, в то, что не подвластно Кесарю: в Труд и Природу, в семью. В Любовь и Творчество. Так и жил Абуталип на Буранном полустанке. Так и в легенде сотник и вышивальщица: любили тайно и собирались бежать - в просторы... И Небо покровительствует такому: у Бога обителей много - и вариантов жизнепрохождения. Имей только воображение - сойти с проторенных путей...

Труд простой: тачать сапоги и шить кошму, и растить хлеб и урюк - напрямую к Богу и Природе выводит, минуя мир Кесаря. Это у нас лишь замахнулись и на этот бастион - и пого-

рели. Так что будни семейно-смиренной жизни и работы, эта "физика" напрямую с "метафизикой" сверхидей: Бог, Любовь, Истина, Красота - соотносится, выход имеет и благословение - помимо власти. Власть - та тоже имеет свой выход на Бога ("несть власти, как от Бога"...); но тут может быть и искушение, и попущение, испытание злом, тогда как в Любви и Труде нет места хитрой диалектике: тут - тождество, прямо положительное родится, творится.

Но когда схватят и приведут на суд, пытку и казнь - тогда как?.. Тоже, по возможности, уклоняться, но не подставлять другого вместо себя - тут уж выпрямляйся и иди на крест. Как и поступили возлюбленные в легенде. Как и поступил Абуталип, когда везли на очную ставку с другими по общему делу, которое так "повезло" сварганить чекисту Тансыкбаеву: Абуталип бросился под поезд... Спортил игру...

В тоталитарном режиме начинают пуще всего бояться одиночки непредсказуемого. Когда доложил Чингисхану "стукач", что вопреки его запрету где-то в обозе родила вышивальщица драконов - "хотя, казалось бы, ничто не нарушало похода, ничто не мешало движению степной армады на Запад, осуществлению его великих замыслов покорения мира, нечто, однако, произошло: какой-то незримый, крохотный камешек покатился с незыблемой горы его повелений. И это не давало ему покоя" (с. 36).

Еще бы! Ведь осыпь в горах и лавина зачинаются от шевеления одного камешка. И даже если он один скатится, не затронув прочих, но на глазах мириадов, что не шелохнутся, но видят - (как на зрелище Сарозекской казни двух влюбленных), - это прецедент свободы, прорыв и сказ-знамение от Всебытия. И таковым, благословенным свыше: Небом

сверху = совестью внутри себя, - должен ощущать таковой "один в поле воин".

История идет волнами, тактами: фазе зажима (деспотия) последует стадия разряжения (свобода), но однолинейного прогресса, движения к добру нет. У блага как бы своя линия и накопления- параллельные с накоплениями зла и взаимно друг другом стимулируемые и питаемые... Так подобно, мне сдается, мыслит и Айтматов. В думах Абуталипа, кого везут в вагонзаке мимо Буранного полустанка, где его напрасно ждет семья, является мысль о "бессрочном зле". "Теперь он все более убеждался, что если бы ему было дано заново родиться на свет, то и тогда не удалось бы избежать столкновения с безликой, бесчеловечной силой, стоящей за Тансыкбаевым. Эта сила оказалась пострашнее войны и пострашнее плена, ибо она была бессрочным злом, длившимся, возможно, со времени сотворения мира. Возможно, Абуталип Куттыбаев, скромный школьный учитель, оказался в роде человеческом одним из тех, кто расплачивался за долгое томление дьявола от безделья в просторах Вселенной, пока не появился на земле человек, который один-единственный из всех земных тварей, сразу сошелся с дьяволом, культивируя торжество зла изо дня в день, из века в век. Да, только человек оказался таким ревностным носителем зла. В этом смысле Тансыкбаев был для Абуталипа изначальным носителем дьявольщины. Потому-то они следовали в одном поезде, в одном спецвагоне, по одному чрезвычайно важному делу" (с.49). Как спаянные одной цепью, соработники Богу и Люциферу в добре и зле.

Мужайтесь, о други, боритесь прилежно,
Хоть бой и неравен, борьба безнадежна (Тютчев).

Но "безнадежна", если в один ряд-линию выложить добро и зло, - тогда они предстанут тактами бытия, бесконечно-волново-колебательным движением. Эта схема, правда, тоже дает утешение: мол, за зимой приходит весна-лето!.. Но ведь и снова затем зима придет... Во всяком случае, эта схема природного цикла и ритма дает продохнуть и воспамятовать о благе - в самые жестокие колымские стужи Гулага.

Но также и нужен образ параллельных линий: мира, что "во зле лежит" (и так тому и быть: хотя и надо пытаться благотворить его, но не особенно надеяться на успех), - и линии Бога, Блага, Веры-Надежды-Любви, что отделенно, незапятнанно и неприкасаемо существует в мире и на уровне сутей, "ноуменов", благой воли держит и тянет свою мощную традицию...

Нет гарантированного торжества Добра. Дело так поставлено в Бытии, в Боге, что оно, Благо, - и беконечно, и хрупко: зависит от твоего поведения, шага, даже мысли-намерения в каждый данный момент. Все сходится к тебе. И как ты сделаешь-решишь здесь и теперь - так и будет всегда везде и в вечности...

И это - великий шанс и дар, и признание, и доверие человеку, и именно тебе, мне - от Бытия, от Бога. Потому-то и сотворен человек со свободой воли: как званый-призванный к сотворчеству с Богом-Творцом. Так что Свобода - это не то, что видит раб и узник: выпущен из темницы на простор и делаю, что хочу. Это еще - внешнее понимание свободы: себя в нем я полагаю телом. А внутренне понимаемая Свобода есть страшное бремя выбора - себя к спасе-

нию иль к погибели - в каждый момент. И потому она есть бремя ответственности, и тут достоинство человека держится , как компасом, - совестью и простым всеобщим нравственным правилом: "не делай другому, чего не хочешь себе". Это и во всех религиях есть, и в категорическом императиве Канта. Хотя я дал это правило в негативной форме - через "НЕ". А оно же в позитивной: "поступай так, как хотел бы, чтоб поступали с тобой".

Вот и у нас сейчас - демократия и расширено поле свободы. Но, долго выдерживавшиеся в рабстве, мы и свободу понимаем внешне: нас выпустили! И вот распущенность и безудержность: гуляй, Вася! А свобода - риск ответственности. У нас же для того специально были выделены "ответственные товарищи", которые, правда, тоже ускользали от ответственности, прячась за "коллегиальное руководство"; но уж простой человек зато совсем этим щитом обезволен и обезвинен..."

А теперь надо скорее ответственность брать на себя - а значит, и ответ за возможную ошибку, вину и грех. То-то так долго и со сладострастием пребываем в разоблачительном вкушении и чесании наших бед: "Что с нами сделали!!!" - только и подкармливаем этим рабское самочувствие себя как ОБЪЕКТА деланий - ух, этих злодеев!...

И в этом плане "повесть к роману" Айтматова, с ее стечением-сопряжением в один текст картины нашей недавней истории и жизни людей там - и легенды, мифа, что уровень вечности и сверхидей подключает в наше сознание, - умеряет одно другим, мудро учит и мужеству-стоицизму, и заряд на труд Благо-сотворения подает. Внешние условия обитания могут быть и лучше, и хуже - та или иная эпоха... Но ты,

человек, имеешь от Бога Отца и Матери-Природы дар самому сотворять свое пространство и время, континуум существования: выбрав душою линию-ряд Блага, Любви, Труда. И тогда ты - как в оазисе пребываешь. И он сотворим тобою - в любой исторической пустыне.

Да, давно ждал я: когда это наш Чингиз схватится с Чингисханом? И вот состоялся поединок.

ГЕОРГИЙ ГАЧЕВ

СОДЕРЖАНИЕ

ЧИНГИЗ ТОРЕКУЛОВИЧ АЙТМАТОВ
БЕЛОЕ ОБЛАКО ЧИНГИСХАНА
Повесть к роману

Художник У.Осмоев
Редактор А.Акматалиев
Художественный редактор Н.Ушацкая
Технические редакторы Н.Стерина, А.Быковская
Корректоры Н.Коршунова, В.Осканян

ИБ N 2

Сдано в набор 18.06.91. Подписано в печать 5.07.91. Изд.№ 2/01-9660 Формат 70x100/32. Бумага мелованная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл.печ.л. 7,15. Усл.кр.-отт. 14,625. Уч.-изд. л. 7,06. Тираж 500000 экз (1-й завод 1—150000 экз).
Заказ 2410

Объединение "Всесоюзный молодежный книжный центр" Филиал "Баласагын", 720737, Бишкек, ГСП ул. Советская, 170

Издательство "Планета", 103031, Москва, ул.Петровка, 8/11

Подготовлено к печати в издательстве "Планета" с использованием ЭВМ

Ордена Трудового Красного Знамени Тверской полиграфический комбинат Государственного комитета СССР по печати. 170024 г.Тверь, пр.Ленина,5.


10-00